

Прогулка с удовольствием и не без морали (1855—1858)

Шевченко Тарас Григорович

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Посвящаю Сергею Тимофеевичу Аксакову в знак глубокого уважения

I

Вздумалось мне в прошлом году встретить нашу прекрасную украинскую весну где-нибудь подальше от города. Хотя и в таком городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она не теряет своей прелести, но все же — город, а мне захотелось уединенного тихого уголка. Эта поэтическая мысль пришла мне в голову в начале или в половине апреля, не помню хорошенько. Помню только, что это случилось в самый развал нашей знаменитой малороссийской грязи. Можно бы и подождать немного, — весною грязь быстро сохнет. Но уж если что мне раз пришло в голову, хотя бы самое несбыточное, так хоть роди, а подавай. На этом пункте я имею большое сходство с моими неподатливыми земляками. Писатели наши и вообще люди приличные чувство это называют силою воли; а его просто можно назвать воловьим упрямством. Оно живописнее и выразительнее.

Долго я перебирал в памяти своей моих добрых приятелей, укрывшихся в тени уединения, т. е. посвятивших себя совершенному бездействию. После тщательной переборки я остановился на одном отставном гусаре, называвшем меня своим родичем, чему я совершенно не противоречил. Лежал он или, как бы выразиться иначе, прозябал он в самом живописном уединенном уголке Киевской губернии, верстах в трех от местечка Лысянки. На него-то и пал мой выбор.

На тройке добрых почтовых лошадей я с Трохимом и с чемоданом поутру рано выехал из Киева. До первой станции — Виты мы добрались без особых приключений и Виту оставили благополучно. Только как раз против самого Белокняжего поля, не доезжая каплицы, или часовни, у левой пристяжной лопнули постромки. Мы думали было на паре кое-как дотащиться до Василькова. Не тут-то было. Грязь по ступицы, и наша пара ни с места. К счастью нашему, мужик вез лозы для изгороди, мы у него, не без труда, правда, выпросили пару лозин и устроили себе кое-как постромку.

В Василькове мы закусили с Трохимом фаршированной жидовской щукой, крепко приправленной перцем, и потянулись дальше. Пошел мелкий, тихий дождик, потом крупнее и крупнее, наконец полил как из ведра; можно бы было заехать в корчму в Мытныци (село) и переждать дождь, но я как сказал себе, чтобы нигде не останавливаться до Белой Церкви, так и сделал. В Белую Церковь приехали мы уже ночью. Посоветовавшись с Трохимом, решились мы ночевать на почтовой станции и, я вам скажу, мы хорошо сделали, что так придумали умно: а иначе мне, может быть, никогда не пришлось бы писать этой «Прогулки», а вам читать ее, мои терпеливые читатели, потому что узел описываемого мною происшествия завязался именно в эту достопамятную ночь. Только не на почтовой станции, как это большею частью случается, а... но зачем забегать вперед?

Решившись ночевать на станции, я спросил у смотрителя, есть ли у них комната для

проезжающих. «Есть две, — отвечал он, — только обе заняты. Какая-то барыня, должно быть, с [молодою] дочерью заняли обе комнаты». — «Барыня с молодою дочерью?» — подумал я. Эх, как досадно, что я не гусар или хоть просто [не] военный, я бы знал, как тут распорядиться: просто по праву проезжающего по казенной надобности (военные не ездят на почтовых по своей надобности) закупорил бы мать с дочерью в одну комнату, а в другой сам расположился и на досуге занялся бы обсервациею в замочную скважину. Вот вам и начало романа, чисто в гусарском вкусе. Я было, признаться, и того... да нет, не хватило духу; сказано: кому не написано на роду быть военным человеком, так тот хоть в аршин запусти усы, а все останется штафиркой.

До местечка оставалось еще с добрую версту, а до жидовского трактира, где мы предположили провести ночь, по крайней мере версты две, но делать было нечего, и мы потащились ночью, под проливным дождем отыскивать жидовский трактир. Трохим, не совсем довольный моим решением, начал было что-то возражать, но я махнул рукою, и мы пустились в дорогу. Через час времени мы благополучно достигли желаемой цели.

Пользуясь сим удобным случаем, я мог бы описать вам белоцерковский жидовский трактир со всеми его грязными подробностями, но фламандская живопись мне не далась, а здесь она необходима. Замечу мимоходом — во-первых, меня никто не вышел встретить, как то бывает в русских трактирах, но этому могла быть причиною темная, ненастная ночь, — причина важная для самого храброго жидовина; во-вторых, по скользким ступеням вскарабкался я кое-как в темный коридор и наткнулся на что-то железное, так ловко наткнулся, что чуть себе лба не раскрыл. Поутру я же увидел, что это были дроги с рессорами из-под какого-то экипажа. Таково было мое вшествие в иудейскую гостеприимную обитель. В комнате уже меня встретил жид, довольно благовидной наружности, и помог мне стащить с плеч насквозь промокшую непромокаемую шинель и униженно спросил, что мне будет угодно? «Чаю и комнату», — отвечал я. Жид сказал: «Зараз» — и скрылся за дверь. В ожидании жидовского «зараз» я грелся и разминался, ходя взад и вперед по комнате. Комната была что-то вроде лавки, с шкафами около стен и стеклянным ящиком вдоль комнаты, вроде застойки. Перед ящиком я остановился и между галантерейными безделушками, как бы вы думали, что я увидел? Книгу в желтой обертке. А я только хотел было сказать Трохиму, чтобы достал книгу из чемодана, а тут она сама в руки лезет, и Трохима тревожить не нужно. Беру со стола свечу и читаю заглавие, кажется, славянскими буквами: «Украинская поэзия» — Н. Падурь. Поди-ко, голубчик, сюда, я тебя давно не видал. Ящик, однако ж, был заперт. Я позвал хозяина, но вместо хозяина явился какой-то жидок с рыжей бородкой. Я просил его достать мне из ящика книгу, но он рекомендовался мне, что он фактор, а не хозяин лавки. Я велел ему позвать хозяина. Явился хозяин, тот самый благовидный жид, что помогал мне снимать непромокаемую шинель. Я просил его достать книгу. Он достал и, подавая ее мне, сказал: «Десять злотых». — «А если только прочитать, — спросил я, принимая книгу, — что будет стоить?» — «Пять злотых», — сказал жид, побрякивая ключами. Делать нечего, я отдал пять злотых и спросил нож, чтобы разрезать дорогую книгу, но это было напрасно: книга была разрезана и даже запачкана. Кроме сальных пятен, я заметил на полях листов то прямые черты, крепко проведенные где ногтем, а где и карандашом, то знак восклицательный, то знак вопросительный, то черт знает что. «Ай, ай! — подумал я. — Да ты побывала уже в руках у нашего брата критика».

Портить карандашом или ногтем чужую книгу неппростительно, но тут все-таки есть хоть какая-нибудь мысль, что я, дескать, читал такую книгу и нашел в ней это хорошо, а это дурно, хотя это подобного читателя совсем не извиняет в порче чужой собственности. Чем же извинить господ, портящих стекла на почтовых станциях своим драгоценным алмазом, выводя на стекле свой замысловатый вензель, как на каком-нибудь важном документе, четко и

выразительно? Чем извинить этих господ? Для чего они это делают? Какая тут мысль? А какая-нибудь да кроется же в этих замысловатых вензелях и росчерках? Неужели только та, что такой-то и такой проезжал здесь с алмазным перстнем? Только, и ничего больше. Какое мелкое, ничтожное тщеславие! А говорят и даже пишут, будто бы знаменитый лорд Байрон изобразил где-то в Греции на скале свою прославленную фамилию. Неужели и этот крупный человек не чужд был сего мелкого, ничтожного тщеславия?

Странно, между прочим. Это мелкое тщеславие заставляет меня (да, может быть, и не одного меня) смотреть, разумеется, от нечего делать, на эти исцарапанные стекла и прочитывать давно знакомую книгу, исчерченную карандашом и ногтем. Так и теперь со мной случилось. Поэзия Падуры мне известна и переизвестна, а я заплатил за нее пять злотых, так, из одной прихоти, как говорится, чтобы себя потешить; а между тем, когда увидел каракули на полях, начал читать, как бы никогда не читанную книгу.

Над песней под названием «Запорожская песня» было весьма четко написано: «Скальковский врет». Что бы значила эта весьма нецеремонная заметка? Я прочитал песню. Песня начинается так: «Гей, козаче, в имя Бога». Какое же тут отношение к ученому автору «Истории нового коша»? Не понимаю. Ба! вспомнил. Эту самую песенку ученый исследователь запорожского житья-бытья вкладывает в уста запорожским лыцарям. Честь и слава ученому мужу! Как он глубоко изучил изображаемый им предмет. Удивительно! А может быть, он хотел просто подсмеяться над нашим братом-хохлом и больше ничего, — Бог его знает, только эта волынопольская песня столько же похожа на песню днепровских лыцарей, сколько похож я на китайского богдыхана.

— А что же чай и комната? — спросил я, закрывая книгу. «Зараз», — сказал торчащий в углу рыжебородый жидок. И он вышел в другую комнату. Ах вы, проклятые жида! Я уже целую книгу прочитал, а они и не думали приготовить чаю! Через минуту жидок возвратился и снова притаился в углу. «Что же чай?» — спросил я. «Зараз закипит», — отвечал жидок. «Чего же ты тут переминаешься с ноги на ногу?» — спросил я у услужливого жидка. «Я фактор. Может быть, пан чего потребует, то я все зараз для пана доставить могу», — прибавил он, лукаво улыбаясь.

— Хорошо! — сказал я. — Так ты говоришь, что все, чего я пожелаю?

— Достану все, — отвечает он не запинаясь.

«Какую же мне задать ему задачу, так что-нибудь вроде пана Твардовского?» — спросил я сам себя и, подумавши, сказал ему:

— Ты знаешь английский портер под названием «Браунстут Берклей Перкенс и компания»?

— Знаю, — отвечал жидок.

— Достань мне одну бутылку, — сказал я самодовольно.

— Зараз, — сказал жидок и исчез за дверью.

«Ну, — подумал я, — пускай поищет. Теперь этого вражеского продукта и в самой столице не достанешь, не только в Белой Церкви». — Не успел я так подумать, как является мой жидок с бутылкой настоящего «Браунстута». Я посмотрел ярлык на бутылке и только плечами двинул, но виду не показал, что это меня чрезвычайно удивило. Жидок поставил бутылку на стол и как ни в чем не бывало стал себе по-прежнему в углу и только пот с лица утирает полою своего засаленного пальто.

Чудотворцы же эти проклятые факторы!

— Скажи ты мне истину, — сказал я, обращаясь к фактору, — каким родом очутился английский портер в вашей Белой Церкви?

— Через наш город, — отвечал жидок, — возят из Севастополя пленных аглицких лордов, — так мы и держим для их портер.

— Дело, — сказал я, — значит, ящик просто отпирался.

— Не прикажете ли еще чего-нибудь достать вам на ночь? — спросил фактор.

— Подожди, братец, подумаю, — сказал я. «Какой бы ему еще крючок загнуть, да такой, чтобы проклятый жид зубами не разогнул?» — подумал я и, подумавши хорошенько, вот какой загнул я ему крючок, истинно во вкусе Твардовского.

— Вот что, любезный чудотворец, — сказал я, обращаясь к мизерному Меркурию. — Если уж ты достал мне портеру... Постой, у вас есть в городе книжная лавка?

— Книжной лавки нет в городе, — отвечал он.

— Хорошо, — так достань же мне новую, неразрезанную книгу, и тогда я поверю, что ты все можешь достать.

— Зараз, — сказал невозмутимо рыжий Меркурий, повернулся и вышел.

II

— Эй, хозяин! Что же чаю? — сказал я громче обыкновенного, обращаясь к растворенной двери.

— Зараз, — откликнулся из третьей комнаты жидовский женский голос.

— А чтобы вам своего мессии ждать и не дождать так, как я не дождусь вашего чаю! — Не успел я проговорить эту гневную фразу, как в дверях показалась кудрявая черноволосая прехорошенькая жидовочка, но такая грязная, что смотреть было невозможно.

— Где же чай? — спросил я у запачканной Гебы.

— У нас чаю нет, а не угодно ли...

— Как нет? Где хозяин? — прервал я запачканную Гебу.

— Хозяин пошли спать, — отвечала она робко.

— Если чаю нет, так что же у вас есть? — спросил [я] ее с досадой.

— Фаршированная щука и...

— И больше ничего, — прервал я ее. А меня прервал вошедший в комнату фактор с двумя новенькими книгами в руках. Я изумился, но сейчас же пришел в себя и велел подать щуку и потом уже обратился к фактору, равнодушно взял у него книги. Смотрю, — книги действительно новые, неразрезанные. Я хотя и привык, как человек благовоспитанный, скрывать внутренние движения, но тут не утерпел, ахнул и назвал жидка настоящим слугою

пана Твардовского. Жидок улыбнулся, а я на обертке прочитал: «Морской сборник» 1855 года, № 1. Я еще раз удивился и, обратясь к фактору, сказал: «Скажи же ты мне ради самого Мойсея, какую ты силою творишь подобные чудеса? И расскажи, как и от кого достал ты эти книги?»

— О!.. Эти книги дорого стоят, если рассказать вам их историю, — сказал жидок и провел по голове пальцами, как бы поправляя ермолку.

— Сослужи же мне последнюю службу, — сказал я ласково своему рыжему Меркурию, — расскажи ты мне историю этих дорогих книг. — Жидок замялся и почесал за ухом. Я посулил ему злотый на пиво, это его ободрило, он вежливо попросил позволения сесть и, почесавши еще раз за ухом, рассказал мне такую драму, что если бы не его жидовская декламация, то я непременно бы расплакался. Содержание драмы очень просто и так обыкновенно, что поневоле делается грустно. Происшествие такого рода.

Из Севастополя в Смоленскую губернию ехал какой-то флотский офицер, Бог его знает, раненый ли, или просто больной, с двумя малютками детьми и с женой. Дело было зимой или в конце зимы; дорога так его, бедного, измучила, что он принужден был остановиться в Белой Церкви на несколько дней — отдохнуть. Болезнь усилилась и положила его в постель. Что им оставалось делать? Сидеть в жидовской грязной и дорогой хате и дожидаться какого-нибудь конца. Началась распутица, все вздорожало. Своих денег не было, расходовались прогоны. И прогоны израсходовались, а больной не вставал. Какой-то проезжий медик навестил его и только покачал головой, и ничего больше. Рецепт не для чего было писать, потому что в местечке какая аптека? На другой день после визита медика больной умер, оставил свою вдову и детей, что называется, без копейки. Что оставалось ей, бедной, делать в таком горьком положении? Она написала письмо родственникам мужа в Смоленскую губернию, а в ожидании ответа начала продавать за бесценок мужнин гардероб и иные бедные крохи, чтобы удовлетворить самую крайнюю необходимость. Услужливый за деньги жид, если узнает, что у вас наличных — и в виду не имеется, то он вам и воды не даст напиться, а о хлебе и говорить нечего. А впрочем, русский человек сделает то же, с тою только разницею, что побожится и перекрестится, что у него все было и все вышло; а денежному гостю подаст все, что бы тот ни просил, и принесет все требуемое перед вашим же носом. При слове «деньги» редкий из нас — не жид. Бедная вдова продавала все, даже необходимое, если оно имело хотя какую-нибудь цену в глазах покупателя жида. Книги, которые мне принес всеведущий фактор, были взяты у нее и, вероятно, за бесценок. В хозяйстве вдовы они были только лишнею тяжестью, да и покойник, как видно, не высоко ценил печатную мудрость: он книги даже не разрезал. Ну, да как бы то ни было, только я был изумлен и обрадован таким беспримерным явлением.

— Что же ты заплатил за книги? — спросил я фактора, разрезывая первый номер.

— Два карбованца — меньше не отдает, — отвечал он запинаясь. «Врешь, сребролюбец Иуда», — подумал я, а уличить его нечем.

— Хорошо, — говорю я ему, — деньги я отошлю с моим мальчиком завтра, ты только покажешь ему квартиру.

— Я уже деньги заплатил, она в долг не поверила, — сказал он, обтирая рукой свою грязную шляпу.

— Жаль, я больше полтинника тебе не дам за книги.

— Зачем же вы испортили книгу? — сказал он почти дерзко.

— Чем же я ее испортил? — спросил я.

— Всю ножом изрезали, теперь она не возьмет книги назад. За мое жито мене и быто, — проговорил он едва внятно и замолчал.

— Утро вечера мудренее, — сказал я ему. — Ложись спать, а завтра рассчитаемся. — Он поклонился и вышел.

По уходе фактора я разбудил Трохима, который спал себе сном невинности около чемодана во всем своем промокшем облачении. Велел я ему полуразоблачиться и, войдя в другую комнату, сказал довольно громко, почти крикнул: «А что же шука?»

— Зараз, — слышался прежний женский голос, и через минуту явилась та же самая курчавая запачканная жидовочка.

— Что шука? — повторил я.

— Уже готова, только на стол поставить, — проговорила жидовочка.

— Ставь же ее на стол скорее, да не забудь и водку поставить. — Жидовочка ушла и вскоре опять явилась со шукою и с осьмиугольным штофом с какой-то буро-красноватой водкой.

Я принялся за шуку и, несмотря что она крепко была приправлена перцем и гвоздикой, с таким аппетитом убирал ее, что если бы Трохим провозился с своим разоблачением еще хоть минуту, то застал бы одну голову да хвост; но он поторопился и захватил еще порядочную долю шуки. После шуки спросил я у запачканной Гебы, нет ли еще чего-нибудь заглушить перец и гвоздику. Она отвечала, что ничего они больше сегодня не варили. Я велел подать графин воды, стакан и расположился на скрипучей, вроде дивана, деревянной скамейке, а Трохим, окончивши шуку, помолился Богу и тоже расположился на каком-то войлоке у печки, на полу. Тишина водворилась в жидовской обители. Снявши со свечи, я начал перелистывать «Морской сборник» № 1-й.

III

Перелистывая машинально книгу, я начал было дремать и поднял уже руку за щипцами, чтобы погасить свечу и заснуть, а случилось не так. Я нечаянно взглянул на реестр увечных, выздоровевших, но неспособных продолжать службу нижних чинов; я стал читать, и что же я прочитал? Прочитал я то, чего не прочитывал ни в одной печатной книге, а я их так немало прочитал.

Дело вот в чем. В присутствии комитета раненых были спрошены эти увечные бедняки, какую кто из них пожелает себе награду за верную службу престолу и отечеству. Бедняки сначала отказались от всякой награды, только чтобы их отпустили на родину. Комитет настаивал, чтобы они, кроме этого, требовали себе всякий, что ему нужно. Иные попросили денежной награды, другие — чтобы освободить детей их из кантонистов. А последний из них, молодой матрос, со слезами на глазах просил, чтобы освободили сестру его родную от крепостного звания. Великодушная просьба этого простого человека меня поразила, я дальше не мог читать, закрыл книгу и погасил свечу.

Мне, однако ж, не спалось. Матрос расшевелил мое воображение и отогнал услужливого Морфея. Простое и самое естественное дело простого человека рисовалось в моей душе яркими, лучезарными красками. Должно быть, я сильно обнищал сердцем, когда меня так поразило это, по-видимому, обыкновенное явление? Неужели вместе с цивилизацией так плотно к нам прививается эгоизм, что мы, т. е. я, едва верил в подобное бескорыстие? Должно быть, так. А по-настоящему не должно быть так; образование должно богатить, а не

окрадывать сердце человеческое. Но, к несчастью, это теория. Подобное ни к чему не ведущее рассуждение не давало мне заснуть, и чем глубже я входил в эти рассуждения, тем возвышеннее, благороднее казался мне поступок увечного бедняка матроса. Он отдал все сестре, а себе ничего не оставил, кроме сумы и костыля. Как хотите, а подвиг не совсем обыкновенный. «Что если бы, — подумал я, — удалось мне этот простой сюжет облачить в форму героической поэмы или... Но нет, никакая другая форма поэзии, кроме поэмы, нейдет этому сюжету. Поэма или ничего». И я начал сочинять поэму.

Во дни минувшие, во дни невинности моей, как говорит поэт, и я втихомолку кропал стишонки, да и кто из нас их не кропал? Следовательно, мне это рукоделье было несколько знакомо. Оставалось придумать ход действий и обстановку; а место действия — страшный четвертый бастион в Севастополе, еще страшнее лазарет там же и, в заключение, укрытое цветущими вишневыми садами малороссийское село, и среди улицы этого очаровательного села встречается свободная сестра своего великодушного калеку брата. Канва готова, — осталось подобрать тени, и за работу. Я уже начал было и тени раскладывать, не теряя из виду общего эффекта. Слушаю, в комнате будто что-то шепчет. Не бредит ли Трохим во сне после жидовской шуки? Прислушиваюсь, действительно Трохим, только не бредит, а наяву про себя шепчет: «А... хочется пить, а не хочется встать». Минуту спустя он еще раз повторил громче свое желание, а через минуту он проговорил его почти вслух.

— Трохиме, — сказал я громко. Трохим молчит. «Трохиме!» — повторил я тем же тоном. «Чого?» — отозвался он, как бы спросонья.

— Подай мне графин с водой. — Он глубоко и продолжительно вздохнул, лениво поднялся с постели, отыскал впотьмах графин и подал мне. «Напейся сам! — сказал я ему. — А я не хочу пить». Трохим напился, поставил графин на место и проговорил: «Покорно вам благодарю». — «То-то ж, дурню», — сказал я ему вместо наставления, но он едва ли это наставление слышал, потому что спал. Оригинал порядочный этот Трохим. Я опишу его когда-нибудь в другом, более приличном месте, а теперь буду продолжать собственное похождение.

Я принялся было опять за прерванную нить своей поэмы, но Морфей-приятель задернул занавес, и едва зримая и великолепная декорация скрылась от моих очей. На другой день очень нерано мы оставили Белую Церковь. Это потому, что я заснул уже на рассвете; сначала матрос не давал мне покою, а потом жидовские блохи. Дорога была по-вчерашнему скверная, если не хуже: от продолжительного дождя густая грязь превратилась в настоящую квашу, как выразился недовольный Трохим. Дорога, впрочем, меня мало беспокоила, я ее почти не замечал. Меня, если можно так выразиться, поглотила моя поэма; я все устанавливал подробности действия и так увлекся этими подробностями, что начал уже стихи импровизировать. Импровизация моя была прервана не самым обыкновенным происшествием. Кони наши остановились перед берлином, или дормезом, по самый кузов зарезавшимся в грязь. Четыре пары добрых волов едва-едва двигали его вперед, а почтовая четверка, вся в мыле, отдыхала по ту сторону плотины. «Не вчерашняя ли это барыня с дочерью с таким комфортом путешествует?» — спросил я сам себя и нечаянно взглянул на Трохима. У него была такая кислая, недовольная рожа, что я расхохотался. Он как будто бы не замечал моего хохота и оттого делался еще смешнее.

— О чем это вы так задумались, Трохим Сидорович? — наконец спросил я его шутя. Трохим мой вздохнул, поворотился лицом к дормезу и проворчал что-то похожее на брань.

— Не «Отче наш» ли вы читаете? — спросил я его, едва удерживаясь от смеху.

— «Отче наш», — проговорил он сквозь зубы.

— За чью ж это душу? — спросил я его смеясь.

— За чертову, — отвечал он тем же тоном и, оборотясь ко мне, сказал:

— Правду сказал жид, у которого мы ночевали, что вы не похожи не только на пана, не походите даже на простого шляхтича голопуз... — Последнего слова он не договорил и опять отвернулся от меня.

Так вот где причина, почему благообразный жид вчера и сегодня не ухаживал за мною, как это обыкновенно делают они, особенно содержатели заезжих домов и так называемых *уездных* трактиров; а я уже думал, что бы значило, что хозяин так равнодушно принял меня, так равнодушно, что не почел нужным попотчевать даже чаем, а вот он где секрет. Интересно бы знать, за кого он меня принял?

— За кого же он меня принял? Не говорил тебе жид? — спросил я у Трохима.

— Так, говорит, ни то ни се, и еще прибавил какое-то слово по-своему. Я не понял, а верно, что-нибудь скверное, потому что, сказавши это слово, он плюнул.

— Ах он, проклятый жид! Еще и плюнул! Ну, а ты как думаешь, Трохиме, похож ли я на пана, хотя сбоку? — спросил я его шутя.

— Ни сбоку, ни спереди, — отвечал он не задумавшись и, отворотясь от меня, продолжал вполголоса: — Не только пан, порядочный мужик в такую погоду собаки из хаты не выгонит, а он поехал в гости — очень нужное дело! Да еще хочет, чтобы его паном жида величали. Небось, жида знают, как кого назвать. — Последнее слово он проговорил шепотом. Я внутренне смеялся досаде озлобленного Трохима. В это время сзади нас послышался почтовый колокольчик. Я оглянулся: в полверсте за нами тащилась по грязи тройка, такая же, как и наша.

— Слава тебе, Господи! — вскрикнул протяжно Трохим и перекрестился.

— А что? — спросил я его.

— Выехали из грязи, — сказал он весело.

Дормез, действительно, стоял уже по ступицы в грязи, а волы, совершивши свой подвиг, попарно вылезали из болота на более сухое место. Вдали слышимый колокольчик запел уже у меня за плечами. Я снова оглянулся и, кроме тройки и ямщика, увидел стоящую в телеге фигуру в черной бурке и в каком-то мудреном картузе. Через минуту тройка, телега и стоящая в ней фигура очутились у самых окон дормеза. Фигура на минуту наклонилась к окну, как бы спрашивая о здоровье закупоренных в подвижной светлице красавиц. Потом фигура в бурке и картузе приподнялась и хриплым голосом стала кричать на ямщиков, чтобы подавали скорее лошадей. Я занялся фигурой, Трохим не знаю чем занимался, ямщик накладывал табак в свою носогрейку, а кони, опустив морды в самую лужу, о чем-то призадумались.

— Что же ты не трогаешь? — сказал я ямщику.

— А я думал, — сказал ямщик, не вынимая трубки изо рта, — что мы за ними и поедем до самой станции.

— Ах ты, хохол! Как ты скверно думал. Трогай-ка лошадей проворнее! — сказал я. И мы оставили фигуру в бурке и дормез. Когда мы проезжали около дормеза, я заглянул в окно, и

передо мной мелькнула необыкновенно прекрасная женская головка, повитая чем-то черным. У меня как будто бы молотком ударило в сердце, и я уже до самой станции ничего не видел, кроме очаровательной головки.

— Самовар есть? — спросил я у станционного смотрителя, вылезая из телеги.

— Есть, — отвечал он.

— А коли есть, так прикажите его нагреть. — И, обращаясь к Трохиму, прибавил: — Делать нечего, Трохиме, чемодан нужно развязать, а то мы пропадем без чаю.

— А разве жидовский вам не понравился? — проговорил он иронически, вынимая чемодан из телеги.

Правду сказать, так чай был только предлогом, а настоящим делом-то была волшебница, закупоренная в подвижном тереме. Мне ужасно хотелось еще хоть мельком взглянуть на эту дивную головку. Казалось, что я рассчитал недурно. Они непременно войдут в комнату, пока им лошадей перепрягут, и я... все случиться может, буду иметь счастье предложить ей стакан чаю. В дороге что за церемония! Пока я так предполагал, самовар кипел уже на столе, и Трохим вытирал черный глиняный чайник и зеленоватые кабачные стаканы. Ну, как же я в таком стакане предложу ей чаю? Срам и... еще что-то я хотел подумать, как растворилась дверь и в комнате явилась фигура в бурке и в мудреном картузе. Не снимая картуза, фигура хриплым басом спросила стоявшего перед ней смотрителя: «Есть ли лошади?» — «Есть», — отвечал почтительно смотритель. «Мне нужен осмерик», — проговорила фигура. «И осмерик будет», — отвечал смотритель тем же тоном.

Фигура бросила подорожную на стол и, заметя третье лицо, т. е. меня, приподняла картуз и кивнула головой. Я отвечал тем же, только немного скромнее, и предложил фигуре стакан чаю с дороги. Фигура не отказалась, пожалела только, что даже в Киеве нельзя достать порядочного араку. Я не противоречил, и разговор наш тем кончился. Фигура, не допивши стакан чаю, скрылась за дверью. Так как этот субъект играет или будет играть не последнюю роль в нашем повествовании, то не мешает его очертить с некоторыми подробностями.

«Отставной ротмистр гвардии помещик Курнатовский» — так гласила подорожная, которую я прочитал не без любопытства.

О подробностях фигуры господина гвардии отставного ротмистра не могу сказать ничего положительно, потому что она скрывалась под буркой. А лицо? Лицо довольно обыкновенное, особенного ничего не выражает, такие лица можно встретить на конной ярмарке в Бердичеве или в Полтаве, между ремонтерами. Нос большой, довольно аляповатый и довольно красный, глаза тоже красные, навывкате. Губы толстые, особенно нижняя, усы искрасна-черные, большие; о волосах на голове тоже ничего положительно не могу сказать, потому что он не снимал своей затейливой фуражки. Вот вам и вся недолга. Если всмотреться в него попристальнее, так, может быть, нашлись бы какие-нибудь особенности. Но я не успел попристальнее всмотреться и подробнейшее окончание портрета оставляю до следующего сеанса.

— Опять поехали волами! — сказал Трохим, входя в комнату.

— Вели долить самовар и прибавить угольев, — сказал я ему и вышел из комнаты. — Во что бы то ни стало, а я ее дождусь, — говорил я сам себе, глядя на бесконечную плотину, по которой четыре пары волов едва двигали знакомый мне дормез. Час, если не больше, дождался я заветного дормеза; наконец, остановился он перед воротами почтовой станции. «Не угодно ли

будет, — не совсем смело сказал я отставному ротмистру, — вашим дамам выпить горячего чаю с дороги?» Ротмистр кивнул головой и подошел к окну экипажа. Через минуту огромный лакей разложил ступени, отворил дверцы и из подвижного терема высадил... как бы вы думали, кого? Вместо прекрасной волшебницы — *бабу-ягу*, закутанную во что-то черное. «А чтобы ты провалилась!» — подумал я. А лакей между тем сложил ступеньки и тихонько притворил дверцы.

— А что же панна Гелена? — спросил по-польски старуху ротмистр.

— Спит, — отвечала старуха и поплелась в комнату, поддерживаемая огромным гайдуком.

Ротмистр закурил колоссальный трубукас и пошел на конюшню посмотреть, каких ему лошадей заложат, а я посмотрел грустно на экипаж, как лисица на виноград, и отправился скрепя сердце потчевать старуху чаем. Напрасно я беспокоился, она уже сама себя потчевала, и когда я вошел в комнату, она даже и не взглянула на меня. Я сказал Трохиму, чтобы он налил себе стакан чаю и укладывал чемодан. Старуха тогда взглянула на меня и отвернулась, а я вышел из комнаты, как бы не замечая ее взгляда. Лошади для меня были готовы. И я, дождавшись Трохима и чемодана, посмотрел еще раз на облепленный грязью дормез, сел в телегу и уехал в полной надежде увидеть таинственную красавицу на следующей станции, т. е. в городе Тараше. Тараша — город! Не понимаю, зачем дали такое громкое название этой грязной жидовской слободе. Наверное можно сказать, что покойный Гоголь и мельком не видал сего нарочито грязного города, иначе его родной Миргород показался бы ему если не настоящим городом, то по крайней мере прекрасным селом. В Миргороде, хотя и не пышной растреллевской или тоновской византийской архитектуры, а все-таки есть беленькая каменная церковь. Хоть небольшое белое пятно на темной зелени, а оно делает свой приятный эффект в однообразном пейзаже. В Тараше и этого нет. Стоит на пригорке себе над тухлым болотом старая, темная деревянная церковь, так называемая козацкая, т. е. постройки времен козачества. Три осьмиугольных конических купола с пошатнувшимися черными железными крестами, и ничего больше. И все это так неуклюже, так грубо, печально, как печальна история ее неугомонных строителей. Едва-едва к вечеру дотащились мы до сего так называемого города. О дальнейшем следовании и думать было нечего. О дормезе и спящей красавице тоже. Следовательно, я могу смело распорядиться одной-единственной комнатой в почтовой станции. Так и сделано. Трохиму предоставил я распорядиться насчет ужина. Но как усердно ни распорядился Трохим, а ужин наш ограничился парюю сушеных карасей, ломтем черного хлеба и рюмкой вонючей водки. Трохим был, как говорится, в своей тарелке и подтрунивал над *чернечею вечерею*, — так называл он наш ужин. Трунил он, собственно, не над ужином, а надо мной, что, дискать, как приятно путешествовать во время такой прекрасной погоды. Мне самому было досадно, но я молчал и старался не думать о погоде, а о чем-нибудь другом. Другое мне, однако ж, плохо давалось. Я вспомнил о матросе, и — вообразите мою досаду: я вспомнил, что мы забыли «Морской сборник» в Белой Церкви. Спрашиваю у станционного смотрителя, не найдется ли из ямщиков охотник съездить верхом в Белую Церковь. Охотник нашелся, я рассказал ему, в чем дело. Он запросил у меня за поездку три целковых, я не торговался и дал задаток. Ямщик тотчас же отправился в дорогу; а мы с Трохимом, помолясь Богу, привели утомленные тела свои в горизонтальное положение. Он на скамейке, а я тоже на скамейке, обгороженной с трех сторон чем-то вроде перил, что делало ее похожей на чухонские сани.

IV

«Морской сборник» таки не дешево мне обошелся, а интересного в нем, я думаю, один только и есть матрос; впрочем, я еще и не просмотрел его хорошенько. Но дело не в том, интересен он или нет, а в том дело, что я с собою взял только две или три книги, и то не знаю какие.

Трохим у меня и по этой части распорядился. А нужно вам сказать, что книги для меня, как хлеб насущный, необходимы. И две недели, которые я предполагал посвятить моим родичам, без какой-нибудь книги покажутся бесконечными. Поэтому-то я и дорожил «Морским сборником» и еще потому, что родич мой, хотя и не без образования человек, но книги боялся, как чумы, и, следовательно, на его библиотеку нечего было рассчитывать. Станным и ненатуральным покажется нам, грамотным, человек, существующий без книги! А ежели всмотреться попристальнее в этого странного человека, то он покажется нам самым естественным. Родич мой, например, начал свое образование в каком-то кадетском корпусе, а окончил его в каких-то казармах и в лагере. Когда же и где ему можно было освоиться с книгою? Штык и книги — самая дикая дисгармония. И родич мой, выходит, самый натуральный человек, и тем еще натуральнее, что он не притворяется читающим, как делают это другие, ему подобные, как, например, делает его благоверная половина, а моя прекрасная родичка, или, яснее, кузина, у которой вся библиотека состоит из «Опытной хозяйки», переписанной каким-то не совсем грамотным прапорщиком. А как занесется о литературе, так только слушай. Другой, пожалуй... да что тут говорить про другого, я сам сначала уши развесил, да потом уже спохватился. Я познакомлю вас, мои терпеливые читатели, хоть слегка с моей кузиной-красавицей (правда, не первой молодости). С такими субъектами, как она, не мешает иногда познакомиться. Сам я познакомился с нею, когда она была еще невестой моего родича. И, правду сказать, чуть-чуть было не втюрился по уши, — извините за выражение, другого не мог придумать, — тогда она была восхитительно хороша. А это известно: если женщина восхитительно хороша собой, то значит, что она и добра, и умна, и образованна, и одарена ангельскими, а не человеческими свойствами. Это уж так водится. А на самом-то деле, чем женщина красивее, тем более похожа она на движущуюся прекрасную, но бездушную куклу. Это я говорю по собственному многолетнему опыту: красавицы только в романах олицетворенные ангелы, а на деле они автоматы или просто гипсовые фигурки.

И кузина моя во время оно казалась мне ангелом кротости и образцом воспитания. Я не волочился за ней открыто, — это не в моей натуре, — но втайне боготворил ее. Это общая черта антивоенного характера. Вскоре она вышла замуж за моего родича и с ним уехала в деревню. Я поохладил свою глубоко-робкую любовь двухлетним несвиданием и потом уже видался с нею довольно часто, но не как пламенный обожатель, а просто как старый знакомый и притом родственник. Тут-то и стал я наблюдать отчетливее за моим бывшим кумиром. Как-то раз зашла речь (это было в деревне) о германской поэзии. Кроме Гете и Шиллера, она с восторгом говорила о Кернере; мне это понравилось, я и выписал сдуру экземпляр Кернера да и послал ей в деревню. Через год или больше случилось мне завернуть к ним мимоездом, и что же? Мой Кернер валяется под диваном, и даже не разрезанный. Это меня заставило усомниться в любви к немецкой поэзии моей красавицы кузины. Для чего же она так непритворно восхищалась этим Кернером? Неужели эти, сквозь слезы, восклицания была ложь? Увы, да! Она, как я впоследствии узнал, боготворила все, что имело какое-нибудь подобие военного, начиная от скромного ученого кантика до великолепного кавалерийского штандарта, а о эксельбантах и говорить нечего: аксельбанты были для нее выше всякого обожания. Так извольте видеть, в чем секрет: при берлинском издании сочинений Кернера, которое она где-то видела, приложен портрет поэта в военном мундире, а мой экземпляр был другого издания и без портрета, так она его и швырнула под диван. Вот вам и секрет. Книги она просто ненавидит, и если бы была какой-нибудь маркграфиней во времена Гутенберга, то не задумалась бы возвести знаменитого типографа на костер.

Это верно. Зато озолотила бы изобретателя тузов, королей, дам, валетов и т. д., словом, изобретателя карт; она воздвигла бы кумир и молилась ему, как Богу — просветителю человеческого рода. Из какого болота вытекает и так широко разливается эта топорная, безобразная страсть в мягком, нежном сердце женщины? Вопрос не головоломный: из болота

бездействия и из тины нравственной пустоты. Врожденных таких отвратительных способностей я не признаю даже в ремонтере. У нас говорят про пьяницу, вора и тому подобного художника, что он, бедненький, уже с этим и родился. Пренаивное понятие! И если бы спросить и у знаменитого череповеда Лафатера, то и он, положив руку на сердце, сказал бы: «Пренаивное понятие!» Играть самому в ералаш, в носки и прочая, — тут есть еще удовольствие, разумеется, удовольствие не совсем эстетическое, но все-таки удовольствие: по крайней мере длинные минуты праздной жизни делаются короче. Но какая нравственная радость просидеть у стола игроков до трех часов пополудни и безмолвно считать выигрыш и проигрыш безмолвных картежников? Совершенно не понимаю! А прекрасная кухня моя находит в этом созерцании высокое наслаждение, — она готова неделю не есть, не пить, только бы сидеть автоматом и смотреть, как играют в ералаш или даже в три листика; а если ей самой удастся составить партию для ералаша, то она готова, как Илья Муромец, сиднем просидеть за картами месяцы и годы без куска хлеба и стакана воды. Неужели так тлетворно действует на пустую красавицу отсутствие толпы обожателей, ее единой насущной пищи? Действительно так, — по крайней мере, я другой причины не знаю. Красавицы в обществе заняты делом, т. е. кокетничеством, а дома, да еще и в деревне, что ей прикажете делать? Не румяниться же и белиться для своего медведя-мужа. Все это ничего! Все это только отвратительно, а вот что горько. У моей прекрасной кухни растет прекраснейшее дитя, девочка лет четырех или около этого, резвая, милая, настоящий херувим, слетевший с неба; и херувим этот, это прекраснейшее создание отдано в руки грязной деревенской бабы. А нежная мамаша шнуруется себе да припекает папилютки, даже на затылке, и знать больше ничего не хочет. Однажды привез я для Наташи (так называется дитя) азбуку и детскую естественную историю с картинками. Надо было видеть, с каким недетским восторгом она любовалась моим подарком и с каким любопытством расспрашивала она свою красавицу мамашу значение каждой картинки; но мамаша, увы! обращалась или ко мне, или просто посылала ее к няньке играть в куклы. Мне стало грустно, и я не совсем издали повел речь о обязанностях матери; кухня сначала слушала меня, но когда я вошел поглубже в предмет и начал живо и рельефно рисовать перед ней эти священные обязанности, она вполголоса запела: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». — «Хоть кол на голове теши», — подумал я и чуть-чуть было не выкинул штуки, т. е. хотел плюнуть и уйти; однако ж удержался и только закурил сигару и вышел в другую комнату.

Зачем они детей родят, эти амфибии, эти бездушные автоматы? С какой целью они выходят замуж, эти мертвые красавицы? Чтобы сделать карьеру, как выражается моя кухня; а дети — это уже необходимое следствие карьеры и ничего больше. Бедные бездушные матери! Вы свой долг, свою священную обязанность передаете наемнице гувернантке и еще хуже — деревенской неграмотной бабе. И диво ли после этого, что порода хорошеньких кукол у нас не переводится. Да и будет ли когда-нибудь конец этой породе? Едва ли, она страшно живуча на нашей тучной заматерелой почве.

Но не пора ли оставить мою темную красавицу родственницу в покое и обратиться к более светлым предметам?

На другой день поутру ямщик с книгами явился передо мной, как лист перед травой. Я расплатился с ним окончательно и спросил его, не видал ли он на дороге берлина. «Ночуе посеред гребли в Ковшоватий», — отвечал он и вышел. «Значит, я ее более не увижу», — подумал я и велел старосте запрягать лошадей. Через несколько минут лошади были готовы, книги в чемодан спрятаны, и, помолившись Богу, мы благополучно отправились в дорогу.

«Странный, однако ж, человек этот сочинитель, — подумает благосклонный читатель. — Ругает на чем свет стоит свою родственницу, а сам к ней в гости едет, — тут что-то да не так». — «Совершенно так», — отвечаю я благосклонному читателю. И по моему мнению, так и

следует. «Хлеб-соль ешь, а правду режь», — говорит пословица, и пословица говорит благородно. Если бы мы, не только сочинители, но вообще люди честные, не смотрели ни на родство, ни на покровительство, а указывали пальцем прямо, благородно на шутародственника и на грабителя-покровителя, то эти твари по крайней мере днем бы не грабили и не паясничали. «Да это невозможно, — скажут честные люди вообще, а сочинители в особенности. — Какое нам дело до его хозяйства, до его средств и источников? Он ведет себя хорошо, безукоризненно хорошо, и притом покровительствует даже... даже художникам. Чего ж нам более? А родственник?.. Да Бог с ним, если он приличный человек — пускай себе паясничает на здоровье, а нам какое дело. Если же он вдобавок и богатый человек, это дело другого рода, тут даже извинительно отчасти и себе поподличать; тут даже можно и очень поподличать, это не бог знает какой грех. А между тем, если уж на большее нельзя рассчитывать, так по крайней мере можно лишний раз хорошенько пообедать». То-то и есть, что все мы более или менее лисицы с пушком на рыльце. «Все это так. Все это в порядке вещей, — скажет благосклонный читатель. — Да как же ехать в гости за двести верст к людям, которые не нравятся? Ну, а если они когда-нибудь да прочитают этот ядовитый пасквиль, эту желчную правду, тогда что?» У всякого свой вкус: во-первых, я еду для прекрасного весеннего сельского пейзажа, а не для карикатурных фигур на первом плане этого прекрасного пейзажа; а насчет второго замечания я совершенно спокоен. Если бы даже я посвятил сие нехитрое творение моей милой кухне и даже поднес бы ей экземпляр в сафьяновом великолепном переплете, то, я уверен, и тогда бы она скорее употребила его на папильотки, чем удосужилась бы прочесть сие неложное изображение собственной персоны. Она... да ну ее с Богом! Разносился я с своей красавицей кухней, как дурень с писаной торбой. Правда, что она весьма интересный, я не говорю редкий, сюжет для наблюдателя; но... пора знать и честь.

Только к вечеру дотащились мы до *Баранполя*. Переезд сам по себе небольшой, но, кроме грязи, место довольно гористое. Во время этого, на удивление медленного, переезда я занимался моим героем, т. е. матросом, и по временам совершенно против воли предугадывал, кто такая была обитательница подвижного терема, т. е. рыдвана. Жена ли она усатого ротмистра или дальняя родственница? или же просто красавица, взятая напрокат по кавалерийскому обычаю? Решить было трудно, и потому я старался ее забыть. Но она, как чертенок, вертелась в моем воображении и прерывала стройный ход моей задушевной поэмы.

Трохим советовал заночевать в *Баранполе* и хоть кусок хлеба съесть: мы, действительно, в продолжение дня ничего не ели. Я и спросил смотрителя, нет ли чего перекусить? Оказалось, что перекуски никакой не было. «Потому, — прибавил смотритель, — что теперь Страстная неделя». — «Резон», — подумал я и велел поставить самовар, но и самовара не оказалось. «Хоть хлеба и воды дайте нам, — сказал я равнодушному смотрителю. Он молча отворил висевшее на стене что-то вроде шкафа и вынул оттуда тоже что-то вроде пирога. Это был черствый *кныш* с постным маслом. Трохим не без труда отломил кусок *кныша*, поморщился и начал есть, предлагая мне остальное, но я отказался. Голод меня, не знаю почему, не беспокоил. Предоставив распоряжение *кнышом* Трохиму, я велел вопреки ему, — что я редко позволял себе, — запрягать лошадей. Не успел он первого куса дожевать, как лошади были готовы. Не без негодования посмотрел он на меня, спрятав остальной кусок за пазуху, лениво вскарабкался на телегу, и мы пустились дальше. Вскоре настала ночь, тихая, теплая и темная. Удивительная ночь! Красноватые звезды казались крупнее обыкновенного и как-то особенно прекрасно горели на темном фоне. Очаровательная ночь! Таким очаровательным ночам обыкновенно предшествует продолжительный весенний дождь, а это не редкость в Малороссии. Жаль, что луны не было. А люблю я ее, полную, круглую, румяную, перерезанную длинными золотыми тучками и в каком-то обаятельном тумане подымающуюся над едва потемневшим горизонтом. Как ни прекрасна, как ни обаятельна лунная ночь в природе, но на картине художника, как, например, Калама, она увлекательнее, прекраснее. Высокое

искусство (как я думаю) сильнее действует на душу человека, сильнее, нежели самая природа. Какая же непостижимая божественная тайна сокрыта в этом деле руки человека, в этом божественном искусстве? Творчеством называется эта великая божественная тайна, и... завидный жребий великого поэта, великого художника. Они братья наши по плоти, но, вдохновенные свыше, уподобляются ангелам Божиим, уподобляются Богу. И к ним только относятся слова Пророка, их только создал Он по образу своему и по подобию, а мы — толпа безобразная и ничего больше!

Догадливый почтарь или ямщик вместо русской телеги, в которой и самый отчаянный фельдъегерь едва ли вздремнет, заложил нам бричку, вроде *нетычанки*, длинную и широкую, а вдобавок навалил в нее сена. Трохиму это так понравилось, что он, не дожидаясь своего кныша, заснул, с куском в руке, сном свежей юности и непорочности. Немного погодя и аз многогрешный последовал его мудрому примеру.

V

Как мы проехали эту станцию, кроме ямщика и лошадей, никто из нас не знает. Я проснулся на рассвете у самой *царины*, или выгона, местечка *Лысянки*, а Трохима я разбудил уже перед дверьми почтовой станции. Так как конец моего путешествия был уже очень не в далеком расстоянии, — не принимая, разумеется, в расчет грязь и полуверстовую *греблю*, — то я и рассудил, что лучше немного отдохнуть в *Лысянке* и потом уже пуститься дальше. До *Будищ*, т. е. до резиденции моего родича, оставалось версты две, не более. Долго ли их проехать? Час, а много два, — так я рассчитывал. Но как я сомневаюсь во многом, то и в этом расчете усомнился и, чтоб определить это предположение точнее, я спросил Трохима, что он на это скажет? А он, подумавши, сказал, что если мы поедем сейчас же, то приедем в *Будища* не ранее полудня.

— Одна гребля чего стоит! — прибавил он. Я согласился с его тонким замечанием и попросил смотрителя дать мне лошадей в сторону, т. е. от почтовой дороги. Он охотно согласился, разумеется, за двойные прогоны, считая прогоны не за две версты, как я думал, а за двадцать с чем-то, т. е. до следующей станции, до Звенигородки. Он не только меня, но даже Трохима уверил, что ему совершенно все равно. Делать нечего, я согласился. На деле оказалось, что Трохим прав, сказавши, что мы раньше полудня не будем в *Будищах*; и смотритель прав, считая полуверстную греблю за 20 верст.

Напившись чаю и, хотя не совсем плотно, закусивши, мы тронулись в дорогу. При выезде из *Лысянки* мы со всею осторожностью въехали на греблю и завязли, что называется, по самые уши в грязи. Тут пришлось нам в первый раз употребить волов в дело. Это было заключение и без того монотонно-длинного спектакля. Я вскарабкался кое-как с телеги на близ стоящую развесистую вербу, потом спустился на землю и сторонкой, выдывая через лужи антраша, перебрался через греблю и, немного отдохнувши, поднялся на гору и у памятника на жидовском кладбище расположился отдохнуть. *Лысянка* передо мной как на ладони красовалась. Все жидовские лачуги можно было пересчитать, а христианские нельзя, потому что они закрыты темными, еще обнаженными садами. Долго я искал глазами в этом лесу груш и яблонь давно и хорошо знакомый мне домик отца диакона Ефрема, у которого я давно когда-то брал первые уроки не рисования, а прямо живописи. Отец Ефрем, чтобы испытать, есть ли у меня способность к этому хитрому делу, заставил меня на листе железа тереть какую-то черно-бурую краску. Я не выдержал испытания и на другой же день показал пяты отцу диакону. Много переиспытал я после этого первого урока, но ничто так не врезалось в моей памяти, как это первое наивное испытание. Но перейдем лучше к чему-нибудь другому, пока волы вытащат из грязи телегу с Трохимом. Местечко *Лысянка* имеет важное значение в истории Малороссии. Это родина отца знаменитого Зиновия Богдана Хмельницкого, Михайла

Хмиля. И еще замечательна (если верить туземным старикам) своей вечерней, не хуже сицилийской вечерни, которую служил здесь ляхам и жидам Максим Железняк в 1768 году. Да если считать все подобные события, недостойные памяти человека, замечательными, то не только какая-нибудь *Лысянка*, каждое село, каждый шаг земли будет замечателен в Малороссии, особенно по правую сторону Днепра. В чем другом, а в этом отношении мои покойные земляки ничуть не уступили любой европейской нации, а в 1768 году Варфоломеевскую ночь и даже первую французскую революцию перещеголяли. Одно, в чем они разнились от европейцев, — у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи, что допускали нередко у себя западные либералы.

Наконец, смешная и скучная процессия с телегой была кончена. Я полтинником поблагодарил угрюмого мужика, а выпачканного грязью мальчугана, его усердного сотрудника, поощрил гривною меди. И, благополучно усевшись в телеге, продолжал финальный акт монотонной комедии, т. е. последние версты моей бестолковой поездки.

Трохим мой хотя и не знахарь, а будущее определяет не хуже любого знахаря. Во время самого обеда телега наша остановилась перед домом моего гостеприимного родича. Встретил он меня на крыльце с салфеткою в руке, а кузина в столовой с озабоченным лицом и с выпачканным в муке носом. Это значило, что куличи в печке еще не поднялись до определенной высоты; этот важный процесс еще не свершился и своей томительной неизвестностью тревожил заботливую хозяйку. Я только так догадывался и, разумеется, не без основания. Страстная неделя уже была на исходе, а в эти дни известно, чем белятся и румянятся усердные ученицы профессорши Авдеевой.

Я подобно Чацкому. Как выразился бессмертный поэт, он попал с корабля на бал, а я с телеги да прямо за стол и еще чуть-чуть не в непромокаемом плаще и в калошах.

Два раза, с извинением, хозяйка вставала из-за стола, и куда-то на минуту выходила, и опять возвращалась, храня глубокое молчание. В третий раз она, уже и не извинясь, оставила нас за столом, промедлила минутой более, чем в первые отсутствия, и возвратилась с сияющим лицом и с умытым носом. Значит, великий химический процесс совершился к общему в доме благополучию. Слава Богу! Теперь только посыпались вопросы и расспросы о Киеве, о родне, о знакомых, о приятелях и приятельницах и, наконец, о монахах. Я отвечал как попало; меня занимал рычаг, которым была двинута моя неподвижная кузина на такую необыкновенную деятельность! Рычаг этот — ничего больше, как крошечное тщеславие; ей захотелось блеснуть, что называется, своими куличами перед необразованными провинциалками, — так обыкновенно называла она своих соседок. К концу обеда и я немного поразмялся, передал, разумеется, с безукоризненной точностью, глубочайшие поклоны моим родичам, сообщил им новорожденные, свеженькие городские сплетни и в заключение рассказал про дормез и заключенную в нем красавицу, про встречу мою с ротмистром Курнатовским и, наконец, про старую дуэну, которая так невежливо распорядилась моим чаем.

— Так он теперь только возвращается с контрактов? — воскликнула хозяйка. А хозяин однотонно прибавил:

— Это наш хороший сосед по имению.

— И во всех отношениях прекраснейший человек. Жаль только, что он рано оставил службу, а с таким состоянием, как он имеет, можно бы далеко уйти. Настоящий кавалерист! — прибавила хозяйка равнодушно.

— А кто такая эта молодая красавица, что с ним путешествует? — спросил я, обращаясь к ней. Ее заметно сконфузил мой вопрос; она замялась, покраснела, быстро встала из-за стола и побежала в пекарню. Я посмотрел вслед удалившейся хозяйке и хотел обратиться с таким же вопросом к хозяину. Но, увы! Родич мой почти спал с недопитым стаканом сливки в руке. Постный обед возымел свое действие. Он бессмысленно взглянул на меня, и мы молча встали из-за стола, пожали друг другу руки и расстались, проговоривши: «До свидания». Что же значит мой вопрос о путешествующей красавице, от которого моя не весьма конфузная кухня так сконфузилась? Тут что-то интересное кроется. А что именно, известно одному аллаху и, наверное, моей кухне. А когда известно ей, значит, известно всем и всякому, кроме меня, но я постараюсь открыть этот таинственный ларчик. А для чего? И на этом серьезном вопросе я заснул на уготованном мне ложе в так называемом флигеле, в квартире № 1.

Квартира № 1 состояла из небольшой одной комнаты с узеньким, вроде готического, окном. Где же я помещу своего Трохима? Это был первый вопрос, представившийся мне, когда я проснулся и осмотрел мою временную обитель. В этой каморке невозможно, здесь и одному тесно. А он у меня, как истинный хохол, любит развернуться; ему необходим простор. Где же мне его поместить? Оставить его на произвол самого себя невозможно. Он, пожалуй, приютится у ленивой и избалованной дворни, и через неделю я своего Трохима не узнаю. Нет, это непозволительно и грешно даже. Он, не знаю, что вперед будет, а в настоящее время чист и непорочен, как новорожденное дитя. И по наивно-оригинальному характеру своему нисколько не подходит к категории лакеев, а тем более крепостных лакеев.

Хотя он, т. е. Трохим, и не первопланная фигура на изображаемой мною картине, но по своей оригинальности требующая некоторой отделки, а тем более, что я дал слово читателю очертить его с некоторыми подробностями. А у меня слово закон, и я теперь намерен сделать два дела за одним присестом: исполнить закон и пополнить пробел сегодняшнего дня, т. е. дня прибытия моего к родичам.

Породою своею Трохим не принадлежит к слоям высшего круга людей. Он просто сын киевского мещанина, и когда взял я его к себе в жокеи, то он большею частью лежал на ларе в передней, но не спал, а глубокомысленно смотрел в потолок. Чтобы переменить род его занятия и предохранить от скорбута, я принялся учить его русской грамоте. Ленивый мальчуган сверх ожидания оказался прилежен и чрезвычайно понятлив. В продолжение месяца он начал читать гражданской печати книгу не хуже своего учителя, т. е. меня. Выучивши грамоте Трохима, я успокоился насчет скорбута и его умственного застоя. Прошло несколько времени, я замечаю, что Трохим мой опять потолком любит, как будто он совершенно неграмотный.

— Что же ты не возьмешь какую-нибудь книгу и не читаешь? — сказал я ему однажды.

— Я не хочу читать ваши книги, — отвечал он, вставая с ларя. — Они все толстые, их и в год не прочитаешь, да и непонятные, — прибавил он. «Резон», — подумал я и, в виде пробы его вкуса и понятия, дал ему полтинник и послал его в книжную лавку Должикова купить себе книгу по своему нраву. Ушел Трохим мой и пропал. Мне нужно было выйти со двора, а квартиру не на кого оставить. Я сердился, но это не помогло. Он возвратился уже в сумерки. Я против обыкновения моего спросил его сердито — где он пропадал во весь день.

— Та все на Подоле, — отвечал он как ни в чем не бывало. — Там все про войну говорили, так я и слушал, — прибавил он, вынимая из кармана книги.

В это время наши войска блокировали Силистрию, — меня подстрекнуло любопытство спросить Трохима, что же он слышал о войне.

— Я ничего не слышал, потому что далеко стоял. — И, подавая мне книги, прибавил: — Посмотрите— ка, какое я себе добро купил.

Я чуть не захохотал на его ответ о войне. Книги на меня произвели такое же действие. Одна из них была какая-то физика времен Екатерины II с чертежами; а другая, на синей толстой бумаге, — переписка той же Екатерины II с Вольтером. «Пропали мои труды и деньги», — подумал я и, отдавая книги, спросил его, для чего он накупил себе этой дряни. Вопрос мой его озадачил, но он тут же оправился.

— Не дрянь, — сказал он, развертывая переписку фернейского мудреца. — Вы только пощупайте бумагу, просто лубок. Не только на мой век, и детям, и внукам достанет такой дебелий книги.

— Хорошо, — сказал я. — Ну, а другую книгу кому ты после себя оставишь? — спросил я.

— Это ничего, что в ней листы немного потоньше; зато она с *кунштами*. — И минуту спустя спросил он меня: — А вы мне будете рассказывать, что значат эти куншты?

— Лучше закажи ты завтра столяру липовую таблицу (доску), разведи в чем-нибудь мелу и принимайся писать; выучишься писать, тогда я и расскажу тебе, что значат эти картины, — сказал я ему и велел ставить самовар. На другой день Трохим принялся за каллиграфию и так же быстро постиг тайну сего изобразительного искусства, как и тайну букваря. Исписавши дести две бумаги, он стал записывать довольно красиво и четко мелочной расход и переписывать песни из московского песенника, который достался ему от отца и лежал до сих пор в сундуке без всякого употребления.

Нужно мне было съездить в Каменец-Подольский, я и Трохима взял с собой, а чтобы занять его чем-нибудь в дороге, я дал ему чистую тетрадку и велел записывать все, что случится во время дороги, начиная с названия почтовых станций, сел, городов и рек. Я был доволен моей выдумкой. «Но кто проникнет зрячим оком непроницаемую тьму грядущего?» — со вздохом должен был я сказать впоследствии.

Возвратясь из путешествия, я, как порядочный хозяин, велел Трохиму показать мне вещи, которые братья были в дорогу. Увы! чемодан был наполовину опорожнен.

— А где же такие и такие-то вещи? — спросил я Трохима.

— А Бог их знает, — отвечал он спокойно.

— Хороший же ты слуга. — А я еще, как доброму, *словутку* купил. — Чего же ты смотрел в дороге? — прибавил я с досадой.

— Я все смотрел, что мне нужно было записывать в тетрадку. Вы же сами приказали, — сказал он с упреком.

Он был совершенно прав, а я кругом виноват. Заставить лакея дорожный журнал вести! Глупо, оригинально глупо!

— Покажи же мне свою тетрадку, я посмотрю, что ты там записывал? — Он вынул из кармана запачканную тетрадку и самодовольно подал мне свое произведение. Манускрипт начинался так:

«До света рано выехали мы из Киева и на десятой версте перед *уездным* трактиром

остановились, спросили у горбатого трактирщика рюмку лимонки, кусочек бублика и поехали дальше.

Того же дня и часа, станция Вита. Пока запрягали кони, я сидел на чемодане, а они — т. е. я — сидели на рундуку, пили сливянку и с курчавою жидовкою *жартовали*».

— Ты слишком в подробности вдаешься, — сказал я ему, отдавая тетрадку. — Спрячь ее, в другой раз я дочитаю. — И, почесавши затылок, пошел к портному и заказал новое платье вместо растерянного в дороге. С тех пор я уже не заставляю его вести путевые записки.

Оригинал порядочный мой Трохим, но что в особенности мне в нем нравится, так это отсутствие малейшей лакейской способности.

VI

Постный обед, а в особенности постный борщ, который едва ли едал и сам великий знаток и сочинитель борщей, гетман Скоропадский, так на меня подействовал, что я, проснувшись после этого постного обеда, часа два по крайней мере лежал, что называется, пластом. Сам Лукулл не доказал бы такой удалы. Лень пальцем пошевелить; чувствую, что начинает темнеть в комнате, — лень на окно взглянуть. Такого рода припадок может случиться только в деревне, и то после постного обеда. Принимался думать о моем матросе, — куда тебе, и чепуха даже в голову не лезет. Просто оцепенение моральное и физическое. Пришел Трохим, постоял у дверей, посмотрели мы молча минут пять друг на друга, и на том кончилось наше свидание. Я хотел было посоветоваться с ним насчет помещения, но решительно не мог. Что бы подумал честный, аккуратный или, лучше сказать, умеренный немец, если бы прочитал сие простодушное сказание? «Варвар», — подумал бы умеренный немец. А будь у немцев такой постный борщ, как у нас, православных, то и немец бы не в силах был ничего подумать, а только сказал бы, что все это в порядке вещей.

В комнате едва можно было уже различать предметы, а я все еще находился под влиянием великопостного обеда и был, как бы сказал крючкодей минувших дней, — был нем, аки рыба, и недвижим, аки клад. Что же вывело меня из этого полусуществования? Никто, и даже сам знахарь не отгадает! За стеной, во втором номере, раздавался молодой женский голос. Я вздрогнул, как будто чего испугался. Оправившись, я приложил ухо к стене, или, правильнее, к перегородке, и только стал вслушиваться в волшебные звуки, как вошел в комнату оборванный, запачканный козачок и именем барыни просил меня в покои кушать чай. Не успел я сказать ему: «приду», — как вошел Трохим с фонарем в руках; это меня окончательно уже поставило на ноги.

— А знаете, кто приехал к нам в гости? — спросил меня Трохим, ставя фонарь на стол.

— Не знаю, — отвечал я, стараясь быть равнодушным.

— *Берлин*, что мы оставили на дороге, — сказал он просто, а не таинственно, как бы следовало.

— Не может быть! Ты ошибаешься, — сказал я, торопливо одеваясь. Он молча взглянул на меня, как бы говоря — разве я могу ошибаться?

Я оделся тщательнее обыкновенного и вышел на двор. Среди двора темнело что-то вроде экипажа; я подошел поближе, — действительно, это был знакомый мне дормез. Не веря собственным глазам, я пощупал рессору, замарал грязью руку — и медленно, в ожидании чего-то необыкновенного, пошел в дом.

Растворяя дверь, услышал я знакомый мне хриплый бас и потом такой же хохот ротмистра Курнатовского. Весьма несмело взошел я в гостиную и остановился в изумлении: за чайным столом сидела одна хозяйка и никого больше из нежного пола. Поклонившись хозяйке и поздоровавшись с ротмистром, как с старым знакомым, я против воли заглянул в другую комнату; хозяйка это заметила, немного поморщилась и предложила мне стул. Я, как провинившийся, но уже прощенный школьник, сел осторожно на стул и молча все время сидел. Хозяйка необыкновенно была любезна с ротмистром и совершенно не по-светски позволяла себе трунить над моею задумчивостью; мне это не понравилось, и я, тоже не по-светски, взял стакан чаю и вышел в другую комнату. Тут я нашел еще не совсем проснувшегося хозяина, глотавшего постные сухари с чаем. Не только умеренный немец, но и рыжий Джон Буль стал бы в тупик, увидя, как уплетал мой едва проснувшийся родич сухари с чаем после такого гомерического обеда, как мы с ним уходили. На меня, однако ж, это курьезное явление не произвело должного впечатления. Я был погружен в вопрос, куда девалась непостижимая красавица. Загадка, таинственный сфинкс для меня эта обитательница подвижного терема! А может быть, она и теперь, как заколдованная, спит в своем тереме? Где же ее старая спутница? Опять сфинкс! Но этот последний если и останется неразгаданным, то мы с читателем не много потеряем. А первый необходимо разгадать. Я вспомнил женский тоненький голосок, слышанный мною из-за стены, и, грешный человек, подумал, как бы теперь кстати была замочная скважина. Прочь, недостойная мысль! Я порядочный человек и с препорядочной лысиной, а не гусар и не донжуан какой-нибудь. Ну что ж, что красавица? И моя кузина красавица, да черт ли в ней. Она, верно, теперь кокетничает перед зеркалом, натешится досыта, оденется, и она же к нам придет, а не мы к ней.

И чай уже убрали со стола, и хозяйка вышла в темную столовую с своим дорогим гостем, а красавица не являлась. Верно, она нашла себя неавантажной с дороги и сказалась больной. Завтра все объяснится. Я хотел уже идти в свою келию, но нашел это невежливым и остался.

Хозяйка долго хохотала с своим дорогим кавалеристом в темной столовой и говорила про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее словам, вся позеленеет от зависти, когда увидит ее гениальные куличи.

— И поделом, не скромничай, не секретничай, — сказала она, укротив свой голосок настолько, однако ж, что я из третьей комнаты мог слышать все ее слова. — Сегодня я послала ей подарок, живого барашка. Вежливость, ничего больше. И, между прочим, велела своей посланнице хотя мимоходом взглянуть на ее произведения, — я говорю о куличах. Она ведь полька, а польки, вы знаете, гениальны на эти вещи. Мне хотелось иметь хотя отдаленное понятие о высоте ее произведений. Вообразите же вежливость мадам Прехтель! И на двор не пустила мою женщину, за воротами встретила и приняла мой подарок. Настоящая светская женщина!

— Сама? За ворота? По этой грязи? — спросил с расстановкой изумленный ротмистр и во все горло захохотал.

— А как бы вы думали? — взаимно спросила восторженная ораторша.

— Это ужасно! — воскликнул вежливый слушатель, и, довольные друг другом, они возвратились в гостиную.

«Кухарка ты, кухарка! моя милая кузина, — подумал я, — да и кухарка-то еще сомнительная! Зато несомненная сплетница».

В гостиной они поместились на чем-то вроде кушетки домашнего изделия, и поместились так

близко друг к другу, как только помещаются кум с кумою. Гость, опустя на грудь свои щетинные усы, глубокомысленно погрузился в созерцание одной из замысловатых пуговиц на своей венгерке, напоминавшей ему о недавно минувших попойках и прочих гусарских подвигах. А гостеприимная хозяйка, положа свою полную, до плеча обнаженную белую руку на осьмиугольный столик, тоже домашнего изделия, с немым участием смотрела на, увы! недавно бывшего гусара.

Не только я, — сам почтеннейший родич мой любовался этим живым изображением самой нелицемерной дружбы.

Глубокая тишина была нарушена глубоким вздохом хозяйки, потом продолжительным «ах... да...» и быстро обращенным вопросом к бывшему гусару:

— Правда ли... нам привез эту милую новость один наш хороший приятель, — она взглянула искоса на меня, — будто бы эполеты уничтожают? Это несбыточно. Я скорее поверю пришествию жидовского мессии, чем этой нелепой басне!

— И я тоже, — сказал бывший гусар.

— И я тоже, — отозвался полуспящий хозяин.

— Да с чем же это сообразно! — подхватила неистово хозяйка. — Да тогда ни одна порядочная девица замуж не выйдет, все останутся в девках; разве какая-нибудь... — Что она еще хотела сказать, — не знаю.

— А скажите, — прервал ротмистр, обращаясь к негодующей заступнице эполет, — какой тогда порядочный человек вступит в военную службу? Какая перспектива для порядочного человека? Что за карьера для порядочного молодого человека? Решительный вздор! И кто вас одолжил этой бессмыслицей? Не из Кирилловского ли монастыря (дом умалишенных в Киеве) вырвался ваш хороший приятель, скажите Бога ради, это чрезвычайно любопытно?

Кузина с торжествующей улыбкой взглянула на своего уничтоженного врага, т. е. на меня, а простодушный мой родич, тот просто показал на меня пальцем и воскликнул: «Вот он!»

— Хватили же вы, батюшка, шилом патоки! — сказал популярно бывший гусар, обращаясь ко мне, забывши, что он светский человек. Так велико было торжество его. А я, как блокированная со всех сторон крепость, чтобы не раздражить напрасным сопротивлением сильного неприятеля, т. е. чтобы прекратить грубую пошлость, сдался на капитуляцию и сказал, что я пошутил.

— Хороша шутка! — воскликнул неистово ротмистр-оратор. — Да знаете ли вы, чем пахнет эта пошлая шутка? Порохом, милостивый государь! Да, порохом! А если пойдет дальше да выше, так, пожалуй, и Сибирью не отделаетесь! — И, переведя дух, он продолжал: — За такую шутку, сударь, вам каждый порядочный, и говорить нечего — каждый, сударь, офицер, имеет полное право предложить шутку поострее вашей: я говорю о шпаге, — понимаете? — Небольшая пауза. — Хотя я теперь и не ношу этого благородного украшения, т. е. эполет, но случись это не в вашем доме, — тут он обратился к улыбающейся хозяйке, — я первый готов предложить эту любовную сделку! — И, заложа руки в карманы, ярый заступник благородного украшения гордо прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед ликующей моей кузиной и, покручивая свои темно-красные щетинистые усы, сказал самодовольно: — В наш просвещенный девятнадцатый век, — он грозно взглянул на меня, как бы говоря: каково! — турки, персияне, китайцы даже надели эполеты. А мы, кажется, не азиатские варвары, а слава Богу, европейцы, если не ошибаюсь. Не так ли, тасiate?

Madame в знак согласия кивнула головой и, хлопая рукою о тюфяк кушетки, сказала: «Не угодно ли?» Оратору было угодно, и он под самым носом своей приятельницы закурил темную огромную сигару и развалился, как только мог, на узенькой кушетке.

Я растерялся и не знал, что с собою делать. Я всегда верил в непритворное обожание эпозет всех вообще красавиц, а родственницы моей в особенности, но такое шаманское поклонение мишуре я в первый раз увидел. Значит, я до этого вечера не встречал ни истинной красавицы, ни истинного гусара. Однако что же мне теперь с собою делать? Доказывать ослам, что они ослы, — нужно самому быть хоть наполовину ослом, — это неоспоримая истина. Что же мне предпринять? Взять шапку и уйти в свою светлицу? Это было бы чересчур по-родственному. Однако ж я взял шапку в руки и в ожидании счастливой мысли, как застенчивый школьник перед бойкими экзаменаторами, остановился у дверей, поворачивая в руках свою шапку, как будто бы допытываясь у ней ответа на бойко заданный вопрос. Не думаю, чтоб это было сделано с умыслом (на подобную вежливость ее не хватит), однако ж она сама, т. е. моя кузина, вывела меня из затруднительного положения, переменявши фронт: она открыла снова свирепый огонь, сначала повзводно, а потом всем дивизионом, по беззащитной тасяте Прехтель. Эта езуитка, как называет ее моя кузина, должна быть порядочная женщина, потому что кузина ее ненавидит. Я, однако ж, был доволен, что она хоть на порядочную женщину обратила свои ядовитые стрелы и вывела меня из осады в чистое поле.

Ободрился я и начал подумывать о ретираде, как подошел ко мне хозяин, глупо улыбаясь, хлопнул меня по плечу и сказал: «Что, брат, попался! То-то же, приятель, вперед будь осторожнее с подобными новостями, в особенности... — и, понизив голос, он прибавил: — с кавалеристами, это народ беспардонный!»

— Теперь я и сам вижу, что беспардонный, да вижу-то поздно, — сказал я ему шепотом, поблагодарив его за дружеский совет, и обратился к хозяйке с поклоном и с пожеланием покойной ночи.

— А ужинать? — сказала она.

— Я никогда не ужинаю, — сказал я — и соврал: за неимением волчьего или помещичьего желудка — я вынужден был на такую уловку.

— А какие пирожки с луком и грибами! Просто гениальные! — сказала она и сделала мину самую гостеприимную.

Но я и от гениальных пирожков отказался. На что светский кавалерист заметил мне, что я препорядочный оригинал.

— Решительный монах! — сказал хозяин; а хозяйка, лениво подымаясь с кушетки, с самою очаровательною улыбкою едва внятно проговорила:

— Чудак! (т. е. дурак).

Отвесив по поклону за любезные эпитеты, я оставил своих остроумных собеседников и удалился в свою мрачную келью.

VII

Вошел я в свою комнату и остановился у двери, чтоб полюбоваться настоящей Рембрандтовой картиной. Трохим мой, положив крестообразно руки на раскрытую огромную книгу, а на руки голову, спал себе сном невозмутимым, едва-едва освещенный нагоревшей свечою, а

окружающие его предметы почти исчезали в прозрачном мраке; чудное сочетание света и тени разливалось по всей картине. Долго я стоял на одном месте, очарованный невыразимой прелестью гармонии. Я боялся пошевелиться, даже дохнуть боялся. Как мираж степной исчезает при легчайшем ветерке, так, мне казалось тогда, исчезнет вся эта прелесть от моего дыхания.

Насладившись до усталости этой импровизированной картиной, я тихо подошел к столу, с сожалением снял со свечи и разбудил Трохима. Спросонья он что-то бормотал; я спросил его: «Что ты говоришь?» И он внятно и медленно прочитал:

— «Глаз есть орган, служащий проводником впечатлений света».

— Что ты читаешь? — спросил я его. Он повторил ту же самую фразу и тем же тоном. Я посмотрел ему в лицо — глаза были закрыты. Он спал. Я хотел испытать, может ли двигаться спящий человек, взял его за руку, с тем чтоб провести по комнате, но он проснулся.

— Что ты видел во сне? — спросил я его.

— Нашу квартиру в Киеве, — отвечал он.

— А что ты во сне читал?

— Свою физику.

— А перед сном что ты читал? — спросил я его, глядя на большую раскрытую книгу.

— Житие и страдание священномученика Евстафия Плакиды. — И, протирая глаза, он прибавил, глядя на книгу:

— А я думал, что мы в Тараще на станции.

— Напрасно ты так думал, — сказал я, раздеваясь.

— Я сам теперь вижу, что напрасно.

— Где же ты достал такую большую книгу?

— У здешнего священника.

— Разве ты знаком с ним?

— Я был сегодня у вечерни и познакомился, попросил для чтения какую-нибудь книгу, он и дал мне «Житие святых отец» — эту самую, — прибавил он, указывая на книгу.

— Это хорошо, что ты познакомился с священником, и хорошо, что достал себе такую святую книгу. А не узнал ли ты чего-нибудь о гостях, приехавших в берлине? — спросил я его как бы случайно.

— Как же, я все узнал, — отвечал он самоуверенно, — мне все до ниточки рассказал их высокий лакей.

«Наконец-то я раскрыл эту курьезно-таинственную завесу», — подумал я. — Что же тебе до ниточки рассказал высокий лакей? — спросил я его как бы случайно, мимоходом.

— Они поехали в Киев на контракты, — я весь превратился в слух, — да там и зазимовали. На *Середокрестной* неделе отговелись в лавре, а на пятой выехали из Киева. В Василькове поставили свой берлин на колеса и, дождавшись грязи, поехали дальше.

— Для чего же они дожидались грязи? — спросил я его. — И для чего она им понадобилась?

— Не знаю, так говорил лакей! — ответил он простодушно и продолжал свой рассказ.

— А сюда заехали для того, чтобы оставить свой берлин, пока хоть немного грязь подсохнет, потому что проселочной дорогой его с места не сдвинет и десять пар волов, а им завтра нужно быть дома — они где-то недалеко живут; забыл, как он называл свое село. Здесь они завтра переседут в бричку и в ней уже поедут в свое село. Да, чуть было не забыл, — сказал он и остановился. — «Теперь-то, — подумал я, — польется вся эссенция рассказа». — Сам пан верхом поедет, а в бричке только они.

— Кто они? — спросил я с нетерпением.

— Лакей с барынями, — сказал он спокойно и, отойдя в угол, стал развертывать и расстилать свою постель.

— А что же дальше? — спросил я его с досадой.

— Ничего, — отвечал он преспокойно.

— А кто же эта молодая панна и старуха, что ехали в берлине?

— Не знаю, я не спрашивал, — отвечал он тем же тоном и, прочитав молитву «Да воскреснет Бог», потом перекрестил изголовье своей постели [и] лег спать.

Я только посмотрел на него и ничего больше. «Ловко же ты разведал все до ниточки, тебе только и служить у какого-нибудь донжуана, а не у меня», — подумал я, раздеваясь и следуя его благоразумному примеру. За стенкой было совершенно тихо. Мне не спалось. Что же я буду делать? Кстати вспомнил я о «Морском сборнике» и, доставши из чемодана № 1, принялся перелистывать. На реестре увечных бедняков, как на чем-то трогательно-привлекательном, я остановился. Долго не мог я отвести глаз от этого заветного реестра, или, лучше сказать, от моего героя, великодушного матроса Я уже начинал чувствовать обаяние дремоты, хотел уже положить книгу и погасить огонь, но мне жаль было расстаться с прозрачным полумраком, образовавшимся от нагоревшей свечи. Я начал ощущать удивительно приятную середину между сном и бдением. В гармоническом полумраке я искал воображением и почти с закрытыми глазами какого-нибудь хотя слабо освещенного предмета, на чем бы остановить погасающее зрение. Мрак становился гуще, и свет слабее. Ресницы мои тихо сближались между собою и, наконец, сомкнулись. Мрак сделался прозрачней и светлее, а в глубине этого синевато-бледного полусвета едва видимо образовался темный, широкий, ровный, как по линейке очерченный, горизонт; за горизонтом тихо, медленно начал являться слабый розовый свет, и, усиливаясь, он принимал какой-то серо-мрачный тон. Горизонт потемнел и издавал гул наподобие соснового бора. Я превратился в слух и зрение. Еще минута, гул сделался слышнее, а горизонт темнее. Еще минута, и я уже слышал не неопределенный гул, а страшный рык какого-то чудовища. Свет усиливался и принимал серовато-млечный колорит. Из-за темного необозримого горизонта бесконечную стеною с огромными фантастическими куполами медленно подымались тучи. Подымаясь выше и выше, они теряли свои колоссальные причудливые формы и обращались в темно-серую массу нескончаемого пространства. Над горизонтом становилось светлее, и тихо, едва заметно тихо, как бы из самого горизонта, подымался огромный беловато-серебристый шар, только одним абрисом похожий на солнце.

Свет проник повсюду и окончил прекрасно-страшную картину моря, под названием «Пролог ужасной бури». Бледный шар подымался выше и выше и становился бледнее и бледнее, наконец, как бы растопился и исчез в млечно—серой массе. Буря, как миллионы невидимых чудовищ, ревела на просторе. На фоне темных туч блестели стаями белые мартины, а на белых скалах длинными вереницами уселись, как любопытные зрители, черные бакланы. Рев бури спустился как будто бы тоном ниже и стал ослабевать, как усердный бас в конце обедни. В густой и тихой октаве бури мне послышалась грустно-заунывная мелодия нашей народной думы, «Думы о Алексее, пирятинском поповиче». Мелодия сделалась слышнее, слова внятнее, и так, наконец, внятны, что я мог вторить поющему и голосом, и словами. И я вторил следующие стихи:

На мори сынему, на камени билому
Ясный сокол квылыть-проквыляе,
На сынее море пыльно поглядае,
З моря добычи выжидае, выглядае.

Мелодия, которой я начал вторить, переходит в речитатив и медленно стихает, как безнадежные стоны одиноко умирающего страдальца; наконец, и речитатив умолк. А из-за огромной белой скалы на прибрежный влажный песок выходит Трохим и ведет за собою высокого согбенного, с белою, как снег, бородою, слепого старца в синем кафтане и в черной высокой бараньей шапке. В правой руке у старика длинный посох, а левой рукой придерживает он что-то похожее на ящик, покрытое полою длинного кафтана. Это непременно *лирнык* либо *кобзарь*. «Да где же мог встретить Трохим в такие дни Божьего человека? — так спрашивал я сам себя. — Знает, лукавец, что мне нужно, выкопал-таки, несмотря и на Страстную пятницу». Когда я стал пристальнее всматриваться, то и увидел, что это был не *лирнык* и не *кобзарь*, а шотландский королевский нищий, так живо описанный Вальтер Скоттом в его «Антикварию». «Каким же чудом, — опять я спрашиваю сам себя, — принесло из Шотландии в Будища королевского нищего, да и зачем? Разве в плен попался как-нибудь под Севастополем? Ведь англичане народ оригинальный, они и на войне не чуждаются домашнего комфорта». Я, однако ж, ошибался, — это был настоящий *лирнык*. Он сел у самого дормеза, положил лиру на колени и начал строить свою лиру, а Трохим, нагнувшись, шептал ему на ухо: «Про *Ивася Коновченка* заспивайте, дядюшка». Старик тихо кивнул головою, повернув колесо лиры, проиграл прелюдию и начал речитативом заунывную рапсодию про славного лыцаря Ивана Коновченка. Окно, т. е. стекло дверец дормеза, опустилось, зеленая шторка поднялась, и в окне показалась чудной, невыразимой красоты женская головка, с большими карими глазами, немножко заспанными. Я вздрогнул и проснулся. В комнате уже серело и страшно воняло погасшей сальной свечкой. Я наскоро надел сапоги, плащ, фуражку и вышел на двор. Весеннее утро сияло во всей своей прелести, из ворот в поле потянулась бричка с двумя пассажирками, сопровождаемыми всадником в венгерке и в затейливом картузе. «Это они, непременно они», — подумал я, глядя на удаляющуюся бричку. «Прощай, лукавая надежда!» — прошептал я и пошел навстречу уже бодрствующему хозяину.

После словесных и ручных приветствий он предложил мне прогулку в парке. Так называл он небольшой ольховый и дубовый лесок, перерезанный узкою, аршина в три, просекою, именуемой большой аллею. Балансируя по намощенным доскам, кое-как добрались мы до калитки так называемого парка. Аллея была суха и даже посыпана толченым кирпичом, но, по причине ее убогой широты и необрезанных ветвей, мы не могли идти рука об руку, а прогуливались гуськом, а следовательно, не могли завести разговора даже о погоде! Итак, хозяин мой молчал, а я красноречиво слушал и, слушая его мудрое молчание, думал. Сначала думал я о таинственной красавице, потом о моем герое-матросе, а потом о том, что я видел во сне прошлую ночь: море, буря, — все это мимо, думы мои остановились на *лирныке*. Сон в руку — как говорится. Я искал рукавиц, а они за поясом торчат; я искал образца для своего

будущего произведения, и искал черт знает где. Перебрал в памяти литературы всех образованных и древних, и новых народов, кроме литературы санскритской и своей возлюбленной родной. Чудаки мы, в том числе и я.

Недавно кто-то печатно сравнивал наши, т. е. малороссийские, исторические думы с рапсодиями хиосского слепца, праотца эпической поэзии. А я смеялся такому высокомерному сравнению, а теперь, как разобрал да разжевал, так и чувствую, что сравнитель прав, и, с своей стороны, я готов даже увеличить его сравнения. Я читал, разумеется, в переводе Гнедича, и вычитал, что у Гомера ничего нет похожего на наши исторические думы-эпопеи, как, например, дума «Иван Коновченко», «Савва Чалый», «Алексей, попович пирятинский», или «Побег трех братьев из Азова», или «Самойло Кишка», или, или, — да их и не перечтешь. И все они так возвышенно-просты и прекрасны, что если бы воскрес слепец хиосский да прослушал хоть одну из них от такого же, как и сам он, слепца, *кобзаря* или *лирника*, то разбил бы вдребезги свое лукошко, называемое лирой, и поступил бы в *михоноши* к самому бедному нашему *лирнику*, назвавши себя публично старым дурнем. Увы! теперь я себя так назвать должен. Во-первых, за то, что хотел подражать, а во-вторых, за то, что не знал, кому подражать. А где причина этой несамосознательности, этой безнравственной несамосознательности? Известно где, в школе. В школе нас всему, совершенно всему научат, кроме понимания своего милого родного слова. О школа, школа! как бы тебя скорее перешколить. Я знаю, как это сделать, только не знаю, как бы сделать это так, чтобы кузина моя не пронюхала о моем замысловатом проекте. Она тогда проклянет меня, потому что по смыслу этого хитрого проекта ее, как мать, первую придется отвести в школу, да еще и в хорошую школу, а за нею и прочих на нее похожих матерей, а об отцах и говорить нечего, в особенности о моем родиче. Не правда ли, глубокомысленный проект?

— Неблагодарный! — скажет с негодованием благородный читатель. — Ежели ты пограл священные узы родства и дружбы, то вспомнил бы вчерашний обед. Вспомнил бы, кому ты обязан гостеприимством. Вспомнил бы, против кого ты ухищряешься, на кого ты руку поднимаешь. — Нехорошо, сам вижу, что нехорошо делаю, что проект мой хотя и удобоисполнимый, но суровый, бесчеловечный! Но, увы! один-единственный и необходимый.

После, нельзя сказать, приятной, но, смело можно сказать, оригинальной прогулки по трехаршинной просеке хозяин предложил мне еще прогулку по конюшням и коровникам, недавно им воздвигнутым по иностранному образцу, напечатанному в каком-то журнале. Несмотря на такую заманчивую рекомендацию, я отказался от обозрения монументальных зданий. Не выдавши этих построек, я имел об них ясное понятие: это должны быть собачьи конуры, а не конюшни и коровники. Ты, брат, из какого хочешь образца сделаешь на свой образец; в моем бедном родиче совершенно все выравнено и выглажено. Не думайте, однако ж, чтоб тут светское образование работало, несколько: сама всемогущая природа его так оболванила. Ни одной черты, ни одного малейшего бугорка, ни одного пятнышка, словом, ничего такого, за что бы можно было ухватиться и дойти хоть до пошлой самобытности характера. От лакированных сапогов до узенького плоского лба — все гладко. Его можно бы назвать ничем, если бы он не был помещиком нескольких сот душ крещеной собственности и если бы он строил свои конюшни и коровники, как их обыкновенно строят, просто, прочно и просторно. А он все это делает совершенно напротив: вычурно, мелко и только на один год. В особенности мелко. Начиная с парка и просеки, по которой нельзя иначе ходить, как гуськом, до домашней мебели и фальшивого циферблата, нарисованного в треугольнике фронтона, все у него мелко, непрочное и крайне безобразно. Вот одна-единственная черта в абрисе этого человека, на которой может остановиться глаз даже и не быстрого глаза наблюдателя. Сказавши друг другу: «до свидания», — мы расстались; он пошел в свои чуланы, а я в свой чулан.

Войдя в комнату, то бишь — в чулан, я разбудил Трохима и послал его в село искать для себя квартиру, а сам, как был в плаще и сапогах, лег на постель и, как это обыкновенно бывает после ранней прогулки, заснул. Спасибо вежливым хозяевам, что не разбудили к чаю. Я проспал бы до вечера, если бы Трохим, возвратившись около полудня с села, не разбудил меня, сказавши, что я похож на пьяного чумака. Сходство действительно было небольшое, но я не обратил на его колкое замечание никакого внимания и напустился на него, зачем он так долго шлялся.

— Шлялся, — процедил он сквозь зубы. — Ни до одной светлицы приступу нет, а их в селе что хата, то и светлица.

— Что же это значит? — спросил я с удивлением, принимая слово «приступу» за дороговизну.

— А то значит, что солдаты только вчера выступили в поход, так бабы сегодня и принялись мазать свои хаты. Просто содом и гомор в селе, — и где они столько белой глины взяли? И меня одна сердитая баба чуть не вымазала белой глиной, — прибавил он, оглядывая свое платье.

— Что же нам теперь делать без светлицы? — спросил я у Трохима.

— Я уже все сделал! — отвечал он.

— Что же ты сделал?

— А вот что я сделал. Из *бурсы* приехал попович на праздники. Ему и отвели квартиру в саду, в той клетке, где летом матушка варенья варит и разные настойки делает. Так вот они, т. е. матушка с батюшкой и сам попович, просят меня, чтобы я приходил ночевать к их поповичу, чтобы ему не так было страшно. Так вы теперь дома ночуйте один, а я буду ходить к поповичу. Он привез с собою много тетрадок и одну большую, всю исписанную разными стихами, так мы ее и будем по вечерам читать, чтобы не страшно было.

— Сама судьба за тебя, Трохиме! С Богом! — Я еще что-то хотел сказать, но грязный козачок вошел в комнату и сказал, что барин с барыней меня ждут обедать. Я вспомнил вчерашний обед и призадумался. Не идти нехорошо, — подумают, что я сержусь за вчерашние эполеты. А идти тоже нехорошо, — обожрется по-вчерашнему. Подумавши, я решился на последнее зло.

Была пятница, — и обед, хоть не совсем умеренный, но был совершенно постный, т. е. без рыбы; это-то и спасло меня от объедения. Однако ж я все-таки всхрапнул часика два после обеда. Всхрапнувши, я вышел на двор, но, кроме парка, совершенно некуда было выйти, и я пошел в парк. Узенькая аллея показалась мне просторнее, и я принялся ее мерять. Утренние мысли посетили меня снова и были уже гораздо розовее и нисколько не касались ни родственников, ни вообще современного человека. Они витали в минувшей бурной жизни, в уныло-сладких песнях задумчивых земляков моих. Мне было весело, приятно, меня сладко волновали эти задушевные унылые думы. Я был околдован ими. Я был настроен на их заунывный тон и, несмотря что близился вечер, самый восхитительный весенний вечер, я пошел в свою комнату, достал чистую бумагу, перо, чернило и написал эпиграф к первой части своей будущей поэмы:

«На мори синему, на камени билому» и проч.

Потом достал огня, зажег свечу, лег на кровать и, странное дело, мысли мои вдруг перешли от поэмы в мое собственное прошлое. Мне представилась комната в 9-й линии, в доме булочника Донерберга; комната со всеми ее подробностями, не говорю — с мебелью: это была бы

неправда. Вдоль передней стены над рабочим столом висят две полки; верхняя уставлена статуэтками и лошадами барона Клодта, а нижняя в беспорядке завалена книгами. Стена, противоположная полузакрытому единственному окну, увешана алебастровыми слепками следков и ручек, а посреди их красуется маска Лаокоона и маска знаменитой натурщицы Фортунаты. Непонятное украшение не для художника. Вдобавок мне вообразился тот самый день, когда мы с покойным Штернбергом на последние деньги купили себе простую рабочую лампу, принесли ее в нашу келью и среди белого дня засветили, поставили среди стола и, как маленькие дети, восхищались нашим приобретением. После первых восхищений Штернберг взял книгу и сел по одну сторону лампы, а я взял какую-то работу и сел по другую сторону лампы. Так мы днем с огнем просидели до пяти часов вечера, в пять часов пошли в Академию и всему натурному классу разблагостили о своем бесценном приобретении. Некоторых из товарищей пригласили полюбоваться нашим дивом и по этому случаю задали вечерку, т. е. чай с сухарями. Мы были тогда бедные, но невинные дети. Боже мой! Боже мой! куда умчались эти светлые, эти золотые дни? Куда девалась прекрасная семья непорочных вдохновенных юношей?

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Я так искренно, так чистосердечно предался моему прекрасному прошедшему, что несколько раз принимался плакать, как дитя, у которого отняли красивую игрушку. И эти благодатные слезы обновили, воскресили меня. Я внезапно почувствовал ту свежую, живую силу духа, которая одна способна чудо сотворить в нашем воображении. Передо мной открылся чудный, дивный мир самых восхитительных, самых грациозных видений. Я видел, я осязал эти волшебные образы, я слышал эту небесную гармонию, словом, я был одержим воскреснувшим духом живой святой поэзии.

Грязный козачок приходил меня звать на чай, но я сказался нездоровым и не пошел.

Успокоившись немного и приведя в порядок свои возмущенные мысли, я, помолившись Богу, принялся за работу.

VIII

Последний день Страстной, вся Святая и половина Фоминой недели невидимо мелькнули надо мною. Я только и помню, что приходил Трохим, приносил обед и свежую воду, ставил все это осторожно на столе и молча выходил в двери. В среду, уже на Фоминой неделе, перед рассветом, я написал последний стих, поставил точку, положил перо, вздохнул, перекрестился и сказал: «Слава тебе, Господи». После всего этого попытался я заснуть, но попытка мне не удалась, и я напрасно только погасил свечу. Дождать рассвета в горизонтальном положении и впотьмах мне показалось скучным, я оделся, как мог, и вышел на двор. На дворе тоже было темно и тихо, как в моей келии. Свежий, чистый воздух и упоительный аромат распускавшейся зелени оживил меня, как усталого путника в пустыне оживляет глоток свежей воды. Под ногами уже было сухо, и я попробовал сделать несколько шагов вперед, — тоже сухо; я еще отошел немного. Из-за какого-то сарая или конюшни я увидел вдали освещенные окна церкви. Заутрениа. «Должно быть, сегодня праздник», — подумал я и хотел идти в церковь, но опасался вместо церкви попасть в лужу, что весьма естественно в теперишнее время. Вскоре птички в воздухе зачиликали и начало светать. Я ощупью пошел далее по направлению к церкви, но тут случился забор, окружающий господский двор, нужно было переменить направление и поискать сначала выхода. Рассветало быстро, и я без большого труда нашел ворота и вышел на площадь, или *царыну*. Через *царыну* я прямо пошел к слабо освещенной церкви. Солнце вступило в свои права, и свет огня бледнел, как трус, в круглых *оболонках* темной старинной

церкви. Заутреня кончилась, и народ выходил на паперть, когда я подошел к церковной ограде. Трохим, увидя меня, пробрался сквозь толпу и с радостным лицом бросился ко мне на шею; я показался ему из гроба вставшим. Обнявшись братски, мы с ним похристосовались и отошли в сторону, чтоб не затруднять мужичков сниманием шапок. За толпою из церкви вышел и священник, человек средних лет с едва заметною проседью в волнистой бороде и раскинутой по плечам косе. Наружность его мне понравилась. Снявши шапку, я подошел к священнику, и после троекратного благословения мы с ним похристосовались. Я отрекомендовал ему себя. Он отвечал тем же мне, сказавши: «Отец Савва Нестеровский», — и тут же просил меня с Трохим Сидоровичем на чашку чаю после обедни. Я дал слово, и мы расстались.

«Эге, — подумал я, — Трохим мой, значит, не уронил себя. Молодец!» — Мне это очень понравилось.

Утро было самое прекрасное, и мне не хотелось возвращаться в свою мрачную обитель. Я предложил Трохиму прогуляться немного со мною по улицам села, предложил ему, как человеку уже знакомому с местностью и могущему служить мне хорошим чичероне, а в случае нужды оборонить и от собак, — последнее для меня было важнее первого. Пройдя десятка два шагов, я остановился и нечаянно взглянул на церковь. Церковь была обыкновенная. Ее вы увидите в каждом селе в Малороссии. Деревянная, темная, с трех осьмиугольных конических куполах, с почерневшими узорными железными крестами. Самая обыкновенная церковь, но теперь она показалась мне необыкновенно грациозною. Солнечные лучи трепетали розовым огнем на ее круглых *оболонках* и осьмиугольных, бляхою крытых куполах. Развесистые старые вербы и стройные высокие тополи, окружая, полузакрывали ее, выпукло и мягко тушуясь солнечным розовым цветом. Виньетка, какой не увидите ни в самом роскошном *кепсаке*.

Налюбовавшись досыта этой очаровательной виньеткой, пустились мы далее. Село хоть куда. Хаты большие, не пошатнувшиеся в разные стороны, как пьяные бабы на базаре. Чистые, белые, нередко с светлицами и почти все окруженные темными фруктовыми садами, клунами и стогами разного хлеба. И скотины разной также немало выгоняют из дворов на выгон свежие, здоровые девки, в новеньких белых свитках, в красных и желтых сапогах на вершковых подковах. Везде все чисто и опрятно, так что хоть бы и в казенном имении, так впору. Выходит, что родич мой хотя и не книгочий, а человек хоть куда и, как видно, хозяин не из последних. Исполать тебе, Лукьян Алексеевич! Пойми ж теперь и уразумей этот неразгаданный иероглиф, эту курицу без перьев под именем человека! Он, кажется, и думает только о том, как бы поуютнее, т. е. потеснее или поуже, конюшню или голубятню выстроить, и больше ничего. Нет, не так. Он и в игрушки играет, и молча свое человеческое дело делает. А другой такой же, кажется, человек, да не такой. Все у него громадность — от хлыстика, шпор и до голубятни. Кричит, распинается за новые идеи, за цивилизацию, за человечество, а сам...

Мужичков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Пойми ж теперь, уразумей этот неразгаданный иероглиф, этого хитро созданного человека!

Проект мой о перевоспитании благовоспитанных родителей действительно проект превосходный, но если бы мне привелось его приводить в исполнение, то не обвиняясь я исключил бы своего родича из общей категории. Кузина — это другое дело. Ее тоже можно бы исключить, но совершенно на других данных, по пословице, например: горбатого могила исправит.

Кривая, неправильная улица, обведенная плетнями и частоколами, вывела нас на такую же криво, неправильно, но прочно устроенную плотину с двумя небольшими, соломой крытыми мельницами, увенчанными огромными гнездами аистов, уже возвратившихся с зимовки и тщательно обновлявших свои на время покинутые жилища. Вода лилась из открытых шлюзов и шумела, не шевеля огромных мельничных колес. Религиозные земляки мои не только своим волам и коням, воде своей не позволяют работать в праздник. За широким прудом, на желтовато-бледной возвышенности из молодого березника и ольшаника выглядывает несколько белых хат с размалеванными ставнями и с аистовыми гнездами на гребешках. Хаты, как нарядные сельские красавицы в чистых белых свитках, подошли к зеркалу пруда полюбоваться своей красотой. А весь этот незатейливый пейзаж оглашался стаями плававших по воде крикливых гусей и уток. Я сел на инвалидном жерновом камне, лежавшем на берегу пруда, полюбоваться этой живописной картиной. А любознательный Трохим сообщал мне свои топографические сведения [о] представляющейся перед нами местности. Он сообщил мне, что это не просто пруд, а речка, называемая *Гнилой Тикич*, и что село называется не просто *Будища*, а *Гнилые Будища*, а такие, просто Будища, находятся за *Шестеринцами*. Трохим соврал: за селом *Майдановкою* просто *Будища* находятся, а не *Шестеринцами*. У меня эта местность крепко засела в памяти. Я изучил ее еще тогда, когда ходил искать себе маляра-учителя и нашел его в персоне отца диакона Ефрема, у которого я, как уже известно читателям, не выдержал первого искуса.

Заблаговестили к обедне, и мы отправились на квартиру. Побрившись и одевшись наскоро, мы пошли в церковь. После обедни зашли к отцу Савве на *Отченаш* или, пожалуй, на чашку чаю.

Дом отца Саввы наружностью своею ничем не отличался от большой мужицкой хаты, разве только двумя *дымарями*, одним белым, а другим закопченным, и небольшим навесом над дверями на точеных столбиках. И внутренность дома, т. е. светлицы, тоже немногим отличалась от внутренности хаты зажиточного мужика, разве только липовым чистым полом, посыпанным белым, как сахар, киевским песком. Такой роскоши мне не случалось видеть не только у богатого мужика, ниже у полупанка. Дубовый резной *сволок* с надписью, кем и в котором году дом сей построен, и такие же резные косяки у дверей и окон. В переднем углу образ Почаевской Божьей Матери, и вместо лампы теплились простого желтого воску свечи. Стол обыкновенной величины и фигуры, покрыт неважным *килымом* (ковром) и сверху как снег белой скатертью. Вместо стульев около стен широкие чистые липовые *лавы* (скамьи); между окнами боковой стены небольшой столик с фигурными ножками; на столике лежат раскрытые гусли с изображением на внутренней стороне крышки пляшущих пастушек и играющего на флейте пастушка. Над гуслиями, в почерневшей золотой раме, портрет Богдана Хмельницкого с гетманским гербом на фоне, окруженным какими-то буквами. Портрет, или, как матушка его называет, *запорожец*, — старинного, но нехитрого письма. Над портретом длинная полка, уставленная большими и маленькими книгами в темных кожаных переплетах. Налево от двери, в углу, толстая неуклюжая печка из разрисованных кафель, очень похожая на свою хозяйку, матушку Евдокию, в штофной узорчатой споднице и такой же юпке с золотыми позументами. На нескольких кафлях между цветами и птицами нарисованы двуглавые орлы. Они мне напомнили наивный рассказ Конисского о таком же изображении на кафле, стоившем бедному хохлу пытки и жизни. Самое же лучшее украшение светлицы отца Саввы — это безукоризненная чистота и обаятельная свежесть. Не успел я, как говорится, оглянуться в сей обители мира и тишины, как стол уже был уставлен разнокалиберными графинами с разноцветными жидкостями и тарелками с разнородными закусками, а в заключение — около стола стояла свежая, розовая поповна с подносом в руках, уставленным чашками с чаем. Отец Савва прочитал «Отче наш», благословив ястие и питие сие, налил в рюмку какой-то настойки, перекрестился и выпил, а другую рюмку предложил мне. Я от рюмки отказался, он предложил ее Трохиму, а меня просил выкушать чашку чаю. После чаю сама матушка предлагала какой-то

особой наливки, под названием *семибратняя кровь*, и жареную утку с яблоками, но я опять-таки отказался. А Трохим Сидорович не устояли против *семибратней крови* и утки с яблоками, чем и сделали величайшее одолжение гостеприимной матушке Евдокии. Поблагодарив за угощение хозяина и хозяйку и сказавши: «до приятного свидания», — я вышел в сопровождении хозяев на двор. На дворе нам встретился человек без левой руки и с солдатским Георгием в петлице. Хозяева остановились с незнакомцем, а я вышел на улицу. У ворот на улице стояла бричка, небольшая, о паре лошадей и с кучером мальчиком. Не обращая внимания на это весьма обыкновенное явление, я пошел далее. Дорогою спросил я у Трохима о его друге, поповиче, и он сказал мне, что ученый друг его, попович, еще во вторник отправился в Киев, и начал мне описывать самыми радужными красками своего ученого бурсака, а в заключение прибавил, что он к нам придет в Киеве и принесет тетрадку, называемую «Слово о птицах небесных, як стали жити и Бога хвалити, а беса проклинати». Хорошее, должно быть, сочинение. Я просил Трохима сообщить мне его, когда будет можно. У ворот господского дома мы расстались с Трохимом; он возвратился в село, а я отправился с визитом к моей милой кухне и почтенному моему родичу. Встретился я с ними в столовой, — они работали над какой-то *бабой* и холодным поросенком. Приличное «ах!» вылетело из жующих губ кухни, и безмолвное поднятие руки родича с вилкой приветствовало мой внезапный приход. После поздраванья они нашли, что я очень похудел, и советовали поправляться после болезни. Я смиренно подсел к ним, и последовал их мудрому совету, и принялся за поросенка с бабою, как за прелюдию грядущего обеда. Не успел я воткнуть вилку в фаршированный желудок приятеля, как у крыльца загредел экипаж. Кухина вскрикнула: «Мосье Курнатовский!» — бросила нож, вилку и выбежала в другую комнату. Размашисто и ловко вошел ротмистр в столовую и, мимо хозяина протягивая мне руку, сказал:

— Я виноват перед вами! Простите! Эполеты существуют только до нового года. — Из третьей комнаты вылетело «ах!» и вслед за ахом — тревожный вопрос кухни:

— А аксельбанты остаются?

— Остаются! — сказал ротмистр и распростер свои объятия над изумленным хозяином.

Через минуту, много через две, явилась кухня, точно «Аврора» *Гвидо Рени*, свежая, улыбающаяся, румяная, как едва развившийся лепесток сантифолии. Склонив на грудь голову, ротмистр благоговейно подошел к ручке, и после поклонения они пошли в гостиную, а мы с хозяином принялись снова за фаршированного приятеля. Я дивился волшебному превращению кухни. «Давно ли, — думал я, — видел ее, эту самую женщину, самой обыкновенной женщиной, а теперь — фея, нимфа и т. д. Недаром сказал вдохновенный царь Давид: „Господь умудряет слепцы“; он же умудряет и красавицу до гробовой доски оставаться если не красавицей, так по крайней мере кокеткой». Лакеи не дали мне кончить моих размышлений и фаршированного приятеля. Они стали раскрывать и накрывать стол, а я, положив оружие, волею-неволею должен был удалиться в гостиную. В гостиной увидел я совершенно не то, что ожидал. Вместо любезной милой болтуни, кухня моя сидела молча на кушетке ничуть не в живописном положении, щипала свой батистовый платок и едва обращала внимание на отборные восторги ротмистра. «Что бы это значило?» — спросил я сам себя и посмотрел на родича. Но тот даже бровью не мигал на мой вопросительный взгляд. В недоумении я хотел удалиться, опасаясь быть лишним человеком, но меня предупредил лакей в нитяных перчатках и с салфеткой, одним концом наверху на большой палец левой руки. Он доложил, что закуска подана. Кухина молча подала руку ротмистру, а мы с родичем, взглянув друг на друга, тоже взялись за руки и пошли чинно в столовую. За обедом та же самая история. После пирожного уже кухня как бы нехотя сообщила, что на второй неделе праздника была у ней с визитом *madame Прехтель* и, увидевши куличи ее и бабы, так вот вся и позеленела от зависти.

— Коварная женщина! — проговорил ротмистр, и мы встали из-за стола. Сейчас же после обеда ротмистр раскланялся, сел в свою нетычанку и уехал. Я тоже взялся за шапку с благим намерением удалиться в свой приют, но кухня меня остановила, сказавши:

— А знаете ли, зачем приезжал к нам Курнатовский?

— Буду знать, если удостоюсь вашей доверенности! — сказал я не без лукавства.

— Просит меня в посаженные матери, а его, — она показала на уже дремавшего своего супруга, — посаженным отцом. Я наотрез отказала, — сказала она с негодованием. — И в самом деле! — продолжала она тем же тоном. — Что я ему за маменька такая далась? Бессовестный! Да и партию-то делает какую? Ни больше, ни меньше, как своя собственная крепостная девка! Прекрасная! превосходная! самая блестящая партия! — восклицала она в исступлении.

— А нам-то какое дело? — перебил ее разбуженный супруг. — Крепостная, так крепостная, нам с ней не детей крестить, перевенчали да и баста! Пускай с нею возится, как знает. Да! — сказал он, обращаясь ко мне. — В следующее воскресенье он хочет венчаться в нашей церкви, просил вас тоже быть свидетелем обряда и расписаться в церковной книге.

— С удовольствием, — сказал я и удалился в свою каюту.

IX

В ожидании воскресенья, или, лучше сказать, в ожидании этой архилюбопытной свадьбы я принялся было за свою поэму, но дело у меня не клеилось: нужно было дать ей время вылежаться, как выражается вообще пишущее сословие. Утвердившись в этом благом мнении, я в одно прекрасное утро собрал разбросанные листочки моего заветного творения, перенумеровал их и, как самая нежная мать укладывает в колыбель дитя свое, так я уложил в портфель свою поэму, свое бесценное сокровище. Утро было действительно прекрасное, и я, как Вальтер Скотт, перевесил кожаную сумку с карандашами и бумагой через плечо и, вооружась походного дубиной, отправился к пруду и мельницам. Пройдя пруд и мельницы через плотину, я уединился в молодую березовую рощу, что по ту сторону пруда, или, правильнее, Гнилого Тикича, и в тени распускающихся деревьев, обаянных самым свежим ароматическим дыханием весны, предался созерцанию оживающей божественной природы. «Для одного такого утра, — думал я, — без сожаления можно оставить в городе образованных друзей и поваляться недельку-другую с медведями в берлоге». Прогулки я возобновлял каждое утро, и каждое утро с новым наслаждением. Бывало, выйду из тенистой березовой рощи на светлую поляну и по извилистой дорожке подымусь на пригорок, сяду себе подле креста (такие кресты ставятся на возвышенностях для знаку о близости воды), достану из сумы карандаш, бумагу и рисую себе широкую прекрасную долину *Гнилого Тикича*, освещенную утренним весенним солнцем. Это были для меня самые сладкие минуты. И тем более сладкие, что панорама, лежавшая предо мною, живо напоминала мне мастерской рисунок незабвенного моего Штернберга, сделанный им с натуры где-то в Башкирии.

Когда солнце подымется над бесконечным горизонтом и широкие тени спрячутся за кусты и пригорки, тогда я бережно укладываю мою работу в сумку и продолжаю свою прогулку в тени развесистых дубов и вязов. В одну из таких прогулок я нечаянно попал на совершенно *рюисдалевское* болото (известная картина в Эрмитаже), даже первый план картины с мельчайшими подробностями тот же самый, что и у *Рюисдаля*. Я просидел около болота несколько часов сряду и сделал довольно окончанный рисунок с фламандского двойника. Интересно было бы сличить его с знаменитой картиной. На другой день я сделал небольшой этюд с суховерхой старой ивы; хотел было сделать такой этюд и с полуусохшего старого

береста, но на живой его половине не развернулась еще зелень, так я ограничился только одним остовом. И такой рисунок не пролежит даром места в портфеле доброго художника. Много еще нарисовал я верб и берестов в ожидании заветного воскресенья, или курьезной свадьбы.

В субботу вечером, возвращаясь в село, встретил я на плотине своего Трохима, гуляющего с безруким кавалером, с тем самым, что встретился мне на дворе у отца Саввы. И теперь, как и прежде, я не обратил на него особенного внимания и прошел мимо. Около квартиры догнал меня Трохим и без дальних околичностей сказал мне, что я ничего не знаю.

— А ты много знаешь? — спросил я его так же фамильярно.

— А я знаю, что завтра будет свадьба, да еще знаете ли, какая свадьба? — прибавил он таинственно. — Тот самый пан, что мы видели на дороге и что заезжал сюда, тот самый пан женится на своей подданке, на той самой, что видели тогда в берлине и что ночевала у нас за стеной.

«Так вот где она — таинственная загадка! — подумал я. — И как все это просто и натурально, а мне-то сдуру и бог знает каким она неразгаданным сфинксом показалась».

— А кто этот кавалер, с которым ты гулял на плотине? — спросил я у Трохима.

— Он-то мне и рассказал всю эту историю, — отвечал Трохим.

— Да сам-то он кто такой?

— А я его и не спросил, кто он такой. Бог его знает, что он за человек. Отец Савва говорит, что он отставной солдат.

— Не матрос ли? — спросил я, прерывая длинноречивого Трохима.

— Нет, не матрос, а просто солдат, — на своем стоял невозмутимый Трохим.

— Хорошо, пускай будет и солдат, — сказал я и, не заходя в квартиру, как был с сумкою и с походного дубиной, пошел навстречу моему амфитриону и его благоверной половине.

— А знаете ли, что я вам скажу, — кричала мне кухня издали.

— Буду знать, когда вы скажете, — отвечал я приближаясь.

— Я завтра на свадьбе! — сказала она торжественно. — И к вам, как к артисту, обращаюсь с моей просьбою. Посоветуйте, как мне одеться так, чтоб было сообразно с ролью, которую я займу в этой комедии.

— Оденьтесь так, как вы всегда одеваетесь, — сказал я.

— Какой вы любезный артист, — сказала она и сделала самую пленительную гримасу. — Как всегда! Разве я каждый день играю роль посаженной матери? Растрепанный вы человек! — сказала она полушутя, полусерьезно и еще пленительнее улыбнулась.

— Вы, кажется, отказались от этой высокой чести? — сказал я в недоумении.

— Никак невозможно! Он пишет ко мне так убедительно, пишет так, что я не в силах отказать ему. Прочитайте, как он пишет. — И подала мне розовую раздушенную записку. Я повертел ее

в руках, понюхал и отдал обратно. — Фу! какое ледяное равнодушие. Хотя бы на почерк посмотрел. А кто привез мне это розовое послание, так уж этого ни за что не скажу, — сказала она, бережно укладывая записку в ридикюль.

— Лакей или кучер, кому же больше, — сказал я наугад.

— Ошиблись, подымайте выше! Так и быть, не буду вас больше мучить. Сам родной брат невесты, какой-то отставной матрос. Я его не видала, сам не изволил подать письмо, а переслал от священника. Тоже гордость! Ну, как же я завтра оденусь? Добьюсь ли я от вас какого-нибудь совета или нет? — спросила она меня в ту самую секунду, как я вспомнил о безруком кавалере. Я сказал ей что-то невпопад, и она захохотала самым непорочным девичьим смехом. Непорочный этот хохот толкнул меня на мысль самую лукавую, и я, оправившись, сказал:

— Оденьтесь вы завтра... это для вас ничего не значит. Оденьтесь вы завтра так, чтобы уничтожить и его красавицу невесту, и его самого.

— А самого-то как? — спросила она с волнением.

— Сделайтесь похожей на его дочь. Вот и все!..

— И прекрасно! — прервала она в восторге. — Я сама то же думала. Это будет маленькая мистификация, не правда ли? — прибавила она, обращаясь к мужу, а тот в знак согласия кивнул головой и, глядя на меня, как бы говорил: да и ты, брат, смиренник, — штука препорядочная! — Довольная моим проектом, кузина позволила мне не переодеваясь пожаловать к ней на чай. Я повиновался и, следуя по стопам красавицы, думал чуть-чуть не вслух:

«Неужели вы, красавицы, так слепы, так удивительно слепы в отношении собственных прелестей, что, не говоря уже о морщинах, — седых волос у себя не замечаете? А это действительно так. Я совершенно убежден в этой горькой истине. Во времена оны, бывало, пригласят меня нарисовать портрет с какой-нибудь действительно почтенной матери семейства. Старушка благочестивая, богомольная, тихая, кроткая, вся в черном, лучшей модели не может быть для отшельницы готических времен: садись и рисуй без малейшей фантазии. Попробуй же нарисовать портрет этой отшельницы без малейшей фантазии, т. е. а ля Жерар Доу. Да тебе не только не заплатят, — из дому выгонят, как злейшего карикатуриста. Тогда и узнаешь, кто такая благочестивая отшельница».

Я долго переносил подобные неприятные приключения, пока не смекнул, в чем дело. Догадался, и пошло как по маслу! Простота— матушка.

Пишу я сию мою заповедь молодым друзьям моим, имеющим несчастье прокладывать себе художественную дорогу такими жалкими, такими горькими средствами.

В продолжение вечера кузина моя была, что называется, в своей тарелке: острила, смеялась и чуть-чуть не танцевала, как девчонка при одном слове о газовом платье и о какой-то еще не виданной в мире тюнике. Она до того была весела и любезна, что сделалась приторною и, наконец, несносною. Чужая радость вообще как-то нас мало радует, а несносная радость моей кузины меня просто бесила. Чтобы не быть безмолвным зрителем глупости и пошлости, я забрал свою мизерию и вышел, от ужина даже отказался. А после такой прогулки, как сделал [я] в этот день, это была большая жертва. С досады попробовал я заснуть, проба совершенно не удалась. Попробовал читать — еще хуже. Какую-то отвратительную скуку навеяла на меня кузина своей глупой радостью. Как безобразная каракатица, скука опутала меня своими

гнусными ветвями и во всю ночь не давала мне покою. Что бы я ни вспомнил, о чем бы ни подумал, все скучно, все невыносимо, противно. Если английская хандра имеет хоть фамильное сходство с нашей русской тоскою, то я верю в возможность путешествия пешком в Камчатку, как это сделал какой-то лорд, да еще вдобавок и женился на дочери петропавловского пономаря. Свадьба, например, кажется, веселый, радужный предмет для размышлений? Попробуйте же вы размышлять о нем во время скуки. Да он вам покажется таким черным, таким гадким предметом, что вы и глаза закроете, а если вы уже с проседью, с лысиной и не женаты вдобавок, то лучше и не размышляйте о свадьбе. Тут вам полезет в голову и старость, и одиночество, и кончится тем, что вы на первой же попавшейся вам дуре возьмете да и женитесь во избежание одиночества. Правда, участь старого холостяка самая незавидная, но и участи старого мужа молодой жены нельзя позавидовать. По-моему, лучше доживать свой век старым холостяком, нежели окружить себя чужими розовыми крошками, а свою лысую, почтенную голову украсить украшением, не внушающим ни малейшего почтения.

Перед рассветом немного освободился я от этой проклятой ведьмы-скуки и заснул, а проснулся уже на благовест к обедне. Хорошо еще, что Трохим — бог его знает, каким наитием — догадался с вечера фрак и прочее приготовить; так я духом оделся и вышел из квартиры в ту самую минуту, как разодетая моя кузина садилась в коляску, чтобы ехать к обедне. Она предложила мне место около своей пышной персоны, но я отказался от этой чести и пошел пешком. Я думал уже около церкви увидеть великолепные экипажи жениха и невесты. Ничего не бывало: одна только коляска моей кузины красовалась да какая-то маленькая бричка с маленьким кучером. В церкви, как обыкновенно, мужички усердно шепотом молились Богу. На клиросе дьячок выводил басом «херувимы» с помощью вчерашнего безрукого кавалера. А где же молодые? Не случилось ли какого-нибудь недоумения, как это часто бывает в подобных случаях? После обедни отец Савва просил меня и Трохима Сидоровича на чашку чаю, и мы не отказали. Едва успел отец Савва прочитать «Отче наш» и благословить ястие и питье сие, как вошел в светлицу усердный помощник охрипшего дьячка, безрукий кавалер. Матушка, после обыкновенного приветствия, назвала его Осипом Федоровичем и просила садиться. Сначала он повесил свою шапку на колышек, нарочно для этого около дверей вбитый в стенку, и потом уже сел, почти у порога, на чем-то вроде табурета. Эта скромность понравилась мне, а тем более в военном человеке. Я стал наблюдать его внимательнее. Это был молодой здоровый парень, с черными жесткими волосами, остриженными под гребенку, с такими же черными густыми бровями и с подстриженными усами. Глаза он постоянно опускал и прятал под черными длинными ресницами, а потому об них положительно сказать ничего нельзя, как и о верхней губе, которой контур прятался под усами, а нижняя была прекрасно очерчена, только немного толстовата. Вообще же он казался физиономии грубой, но такой кроткой и выразительной, что я невольно им любовался. В разговор наш он не ввязывался, как это делают обыкновенно бывалые ребята его сословия. Если отец Савва адресовался к нему с каким-нибудь вопросом, то он отвечал коротко и основательно. Так, например, матушка спросила его, когда намерен их посетить господин Курнатовский? Он отвечал: «Перед вечером». И тем кончилось. Полюбовавшись скромным незнакомцем, я, поблагодарив хозяина за угощение, ушел, а Трохима Сидоровича оставила матушка у себя обедать. В продолжение дня незнакомец вертелся у меня на уме. И сам не знаю, чем он мог меня так заинтересовать. Отставной солдат и больше ничего. За обедом я порывался было спросить у кузины, не брат ли это невесты стоял на клиросе, но кузина была сегодня не в ударе, и я спрятал в карман свой нескромный вопрос. Думал после обеда спросить у родича, но тот за обедом еще чуть не захрапел. Трохим не являлся до самого вечера, и мое любопытство оставалось неудовлетворенным до самого вечера.

Дни ожидания так скучны и длинны, как этот нехитросплетенный рассказ. А часы ожидания еще длинее и скучнее. И странно, мы постоянно надеемся и ожидаем и не можем приучить себя к этому томительному чувству, не можем сократить бесконечного часа ожидания ни одной секундой. Несмотря на то что я дурно спал ночью и на то что я не весьма умеренно пообедал, а все-таки после обеда хотя и пробовал, но заснуть не мог. А все нелепое ожидание мешало. Чего же я жду и что меня тревожит? И сам не знаю, а чувствую, что тревожит что-то. Чтобы избавиться от этого чего-то, я надел свою рабочую блузу, взял сумку, дубину и пошел на свой любимый пригорок, осененный дубовым крестом. День был прекрасный, небо светлое, голубое, глубокое и ясное, как мысль великого поэта. Белые прозрачные тучки-красавицы, как непорочные сновидения младенца, сменялись одна другою, и, пролетая небесное пространство, они набрасывали широкие темные пятна на мою ненаглядную панораму. С этими очаровательными пятнами панорама казалась и шире, и глубже, и бесконечнее. Я глаз не мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне казалось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку, и Тальне, и даже самую Умань.

Я принялся за работу. Разложил темные и светлые пятна на моем неоконченном рисунке, и рисунок ожил, заговорил и сам собою окончился. Вот где твои чары, колдовство твое, очаровательный Каналетти.

Освещение изменилось. Рисунок я положил в портфель и хотел уже идти в село. Смотрю, золотое солнце повисло над фиолетовым горизонтом и рассыпало свои изумрудные лучи по всему необъемлемому пространству. Новая прелесть! Новое очарование! Пораженный чудной гармонией, я в безмолвии опустил руки и, не переводя дыхания, смотрел на эту великолепную ораторию без звуков.

Солнце уже закатилось, а я все еще стоял около креста, и, не странно ли, мне слышалась из березовой рощи флейта, играющая прелюдию вальса Авроры. А ничего этого не было, о флейте никто и не слышал в этом околотке. Родич мой говорит, что он когда-то превосходно играл на флейте, но потерял ключ от футляра, где хранится инструмент, и перестал играть. И он не шутит, по его понятиям это совершенно в порядке вещей. В эти недолгие минуты я был настоящим поэтом и носился мыслию бог ведает где, в каких надзвездных областях. Но как житель земли, то и вспомнил, правда довольно поздно, про земное, т. е. про свадьбу. «Фи! какой цыник! — скажет влюбленная читательница. — Свадьбу называет просто земным делом». Согласен, пускай это будет делом самого Ориона, только я об нем вспомнил уже в сумерки.

Спотыкаясь на пни и кочки, кое-как пробрался я сквозь березовую рощу и вышел на плотину. Смотрю, церковь уже освещена. Я прибавил шагу и, как был с сумой и в блузе, прямо пошел в церковь, — хорошо, что догадался шляпу снять. Спрятался я за какого-то плечистого мужика и выглядываю, как мышь из ларя. Обряд уже начался, и безрукий мой кавалер-незнакомец держит венец над головой невесты. Сбоку вижу, что невеста красавица, а посмотреть в лицо нельзя. Досадно. Стало быть, этот кавалер — ее брат. Больше быть некому. Жаль, что не познакомился я с ним покороче. Тут непременно кроется какая-нибудь романтическая драма. Да и какие могут быть отношения между богатым помещиком и бедняком, изувеченным инвалидом? Нужно поручить Трохиму разведать все это дело хорошенько, — не выкроится ли из этой материи какая-нибудь историйка, а может быть, и оперетка вроде «Москаль-чаривныйк». Да, не иначе, как чарами, заставляет он надменного ротмистра жениться на своей крепостной крестьянке. Как я тщательно ни прятал свою особу за плечистым мужиком, а все-таки спрятать не мог от зоркого глаза Трохима. Он меня заметил и, подойдя, сказал шепотом:

— Молодые прошены на чай в дом. Если и вы пойдете, то нужно приготовить фрак и сапоги почистить.

— Ступай чисти, — сказал я ему лаконически. Трохим вышел. Дождавшись «Исаия, ликуй», и я вышел из церкви и бегом пустился на квартиру. Вот еще беда немалая: в моем изысканном гардеробе белого галстука не оказалось, а он теперь необходим. Что делать? Трохим догадался: сложил белый носовой платок, и вышел препорядочный галстук, бант только оказался не надлежащей величины. Приведя к концу свое облачение, напялил я фрак и пошел в комнату. В дверях встретили меня общим смехом; особенно кухня так усердно заливалась, что я подумал, не над моим ли галстуком они смеются! и страшно сконфузился. Оказалось совсем другое. После первого пароксизма смеху кухня меня взяла за руку и подвела к зеркалу. О ужас! У меня все лицо выпачкано карандашом. Не говоря ни слова, выбежал я из комнаты. Во время работы я отгонял комаров запачканными карандашом руками, хватался за лицо, да и отделал свою физиономию а ля Отелло, а зоркий глаз Трохима и не заметил, когда повязывал галстук.

Преобразившись, я в другой раз явился в гостиную и после обыкновенных поклонений и пожеланий взглянул на невесту. Господи, что это за красота совершенная! До седых волос дожил, а не видывал ничего подобного этой неописанной красоте. Знаменитая красавица графиня Коловрат (которую я видел в парижской литографии) при всевозможных косметических средствах едва ли выдержала бы роль наперсницы при этой скромной героине. Долго я не мог глаз отвести от этого типа совершенной красоты. И чем внимательнее и хладнокровнее смотрел я на нее, тем более видел прелесть и гармонию в чертах ее удивительного лица. Божественному Рафаэлю и во сне не снилась подобная красота и гармония линий. А знаменитый Канова вдребезги разбил бы свою сахарную «Психею», если бы увидел это божество, грациозно принимающее чашку с чаем. А между тем в ее красоте ничего не было общего с очертаниями принятой красоты, это была самобытная одушевленная красота. Это был тип моей землячки, в высшей степени совершенный. И как ты побледнела, как ты потемнела, моя бедная кухня, перед этой лилией, едва распустившейся. Где твой смех? Где твои хитрые вчерашние затеи? Не помогли тебе ни притирания, ни умывания, ниже газовое платье! Бедная ты, жалкая ты красавица!

Молодые недолго гостили. После чаю они сейчас же уехали, я тоже раскланялся и ушел к себе на квартиру, далеко не в нормальном состоянии духа. Красота на меня, в чем бы она ни проявлялась, в существе ли живущем или прозябающем, всегда имеет одинаковое и благодетельное влияние. Под ее благим влиянием я чувствую себя другим, обновленным человеком, чем-то вроде старого младенца. Мне тогда необходим хоть какой-нибудь человек, чтоб разделить свои добрые ощущения или хоть наговориться досыта. А иначе я похож на того пьяного, который не заснет, пока не отрезвится. Я тоже долго не мог заснуть, но это была не утомительная, а успокоительная бессонница. Приятное, невыразимо приятное ощущение! Благодарю тебя, всемогущий Боже, что одарил Ты меня чувством человека, любящего и видящего прекрасное, совершенное в Твоем нерукотворном бесконечном творении. Если бы красота во всех ее образах хотя на половину человечества имела свое благодетельное влияние, тогда бы мы быстро близились к совершенству и, наконец, олицетворили бы собой божественную заповедь нашего Божественного Учителя. Тогда бы Шварц и Ривольер пошли по миру с своими гениальными изобретениями или открыли бы лучшие и благороднейшие источники человеческих усовершенствований. — Долго я фантазировал на эту прекрасную тему, пока, наконец, физика пересилила мораль, я заснул. Во сне повторилось виденное мною наяву, с тою только разницею, что вместо ротмистра возле невесты сидел с козлиными ногами и рогами рубенсовский сатир, с лица очень похожий на ротмистра. Сатир жметя к нимфе, шепчет ей что-то на ухо. Нимфа улыбнулась, я вздрогнул и проснулся. Солнце уже заглядывало в готическое окно моей миниатюрной кельи, когда я вздрогнул и проснулся. Трохим нечаянно, но весьма кстати явился передо мной. Я объявил ему, что имею намерение сегодняшней же день после обеда выехать в Лысянку, взять почтовых лошадей и — восвосяси.

Он против обыкновения не прекословил моей воле и тут же начал складывать фрак и прочие доспехи, живо напомнившие мне о вчерашнем происшествии.

Прежние благородные обладатели крепостных душ только гаремы заводили из собственных девок, а теперь жениться начали. Выходит, что идея о коммунизме не одна только пустая идея, не глас вопиющего в пустыне, а что она удобоприменима к настоящей прозаической жизни. Честь и слава поборникам новой цивилизации! Трохим с увлечением занялся чемоданом, а я, чтоб не мешать ему, заблагорассудил сделать прощальный визит отцу Савве. Но на пороге своей идиллической мирной обители встретил меня сам отец Савва вместе с безруким кавалером.

— Вы к нам, а мы к вам собрались на визитациум, — говорил весело отец Савва. — Сей божий человек, — прибавил он, указывая на кавалера, — имеет к вам экстраординарное послание.

Не успел я прийти в изумление от этой неожиданности, как сей божий человек достал из пустого рукава миниатюрный, разрисованный наподобие конфетки конверт и, подавая его мне, сказал:

— Зять и сестра, ваше благородие, кланяются и просят вас пожаловать к себе сегодня вечером.

Я не отнекивался, как пьяница от рюмки водки, и, не читая раздушенного послания, сказал: «Буду». Тогда он подал мне другой такой же конверт и просил передать супруге Лукьяна Алексеевича, т. е. моей кузине. Я обещался. Отец Савва заметил, что не мешало бы самому господину кавалеру отдать письмо и лично просить их милость. Кавалер, не сказав ни слова на это замечание, только как-то чрезвычайно выразительно улыбнулся. Отказавшись от приглашения отца Саввы на чашку чаю и прочее такое, я с ними простился и пошел к себе на квартиру сказать Трохиму, чтобы он фрака не укладывал.

— А чтобы он сгорел, ваш этот проклятый фрак! Только и дела, что с ним возимся. Пообедать некогда. — И много еще кое-чего было сказано в пользу фрака, чего уж я не слышал, потому что ушел передать дружеское послание кузине. Она встретила меня восклицанием:

— А какова невеста!.. — Я отвечал, что в жизнь мою не видывал такой красавицы.

— Значит, вы не так разборчивы, как я полагала, — сказала она холодно. — Для вас, значит, — прибавила она тем же тоном, — образование в женщине вещь совершенно лишняя?

«Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать», — подумал я и вместо возражения передал ей раздушенное письмецо.

За обедом речь опять зашла о невесте, опять заметила мне язвительно кузина, что я в грош не ставлю хороший тон и образование в женщине. Я отмалчивался, ее это бесило. «Да! — сказала она зеленея. — Вы художник, а художнику нужна только модель, натурщица, а не женщина». Опять подумал я: «Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать». Но вслух не нашел приличного возражения на ее весьма не тонкое замечание, и молчание воцарилось.

Как истинный гомерид, родич мой уходил чуть не всего жареного с капустою гуся, с наслаждением запил его не последней величины стаканом сливянки и, самодовольно улыбнувшись, сказал: «Вот теперь так! Подавай, что там еще есть у тебя», — сказал он козачку. Козачок вышел. «Да, — продолжал он, приняв тон таинственности. — Это такая, я вам скажу, история, что хоть в газетах публикуй».

— Какая это история? — спросил я не совсем равнодушно.

— Да хоть бы вчерашняя свадьба, — сказал он, взглянув на жену.

— А что такое? — спросил я и тоже посмотрел на кухню.

— Да так-с, ничего-с, — сказал он тоном человека, владеющего великой тайной. — Вы заметили вчера невестиного шафера? — спросил он меня и снова взглянул на свою мрачную супругу.

— И даже сегодня имел честь его видеть, — отвечал я.

— Это не больше, не меньше, как отставной матрос, родной и единственный брат теперишной госпожи Курнатовской и помещицы пятисот душ крестьян, чистых, незаложенных, — сказал он, наливая еще стакан сливки. При слове «матрос» я невольно вздрогнул. «Не герой ли это моей поэмы?» — подумал я и, обращаясь к родичу, просил его пояснить мне эту загадочную историю.

— А вот какая это история... — Кузина фыркнула, выскочила из-за стола и уже из другой комнаты проговорила: «Невежа, мужик! От тебя, кроме пошлости, ничего не услышишь». Он спокойно перекрестил дверь, из которой летели эти слова, и сказал:

— Вот какая это история. Господин Курнатовский, или, как она его называет, мусье Курнатовский, человек во всех отношениях благородный. Мы его от души любим, как вы это сами могли заметить. Одно только: несмотря на его святую наружность, ужаснейший волокита. После первой женитьбы он оставил службу и приехал, как говорится, на покой в деревню; жена — прекраснейшая была женщина — не перенесла первых родов и умерла, оставив ему в залог любви своей здоровенькое прекрасное дитя. Молодец наш, как попечительный и нежный отец, кроме кормилицы, для большего соблюдения ребенка приставил к нему еще четырех молодых красивых няnek. Из всей деревни выбрал, разбойник. В число этих няnek попала и теперишняя жена его. Дитя вскоре умерло. Кормилицу-то он отпустил, а нянюшек при себе оставил в доме. Предполагал, видите ли, завести коверную фабрику, плут! Вместо фабрики он образовал небольшой домашний гаремик. Ничего, все шло хорошо. Женатые соседи на первых порах отказали от дому, да после раздумали. По-моему, самое лучшее не обращать внимания на чужие недостатки. «Всякий Еремей про себя разумеи!» — говорит наша пословица. Хорошо, вот дошла очередь и до Оленки, теперишной госпожи Курнатовской. Только не тут-то было. Оленка заартачилась, он около ее и так и сяк, — нет, да и баста! Ни ласки, ни угрозы, ни услаждение — ничто не помогло. А главную причиной упрямства ее был брат, теперишний отставной матрос. Чтобы устранить эту помеху, наш молодец не задумался — в первый же набор и царап приятеля в солдаты. Одним ударом все покончил. Так по крайней мере он вообразил себе, а на деле вышло совершенно не то, что он вообразил себе. Красавица пуще прежнего заломалась, — и близко не подходи! Бежала было в Киев, к губернатору, да, слава Богу, вовремя схватились и поймали уже за Лысянкой. Наделала бы кутерьмы, если б удалось ей до Киева добраться. Приятель наш таки порядочно было трухнул. Дело-то, знаете, опекою запахло, если не больше. А из чего? Из сущей дряни! Из-за капризной девки. Правду сказать, так наши помещики порядочно избалованы, позволяют иногда себе такие причуды, за которые в другом месте не посмотрели бы, что он помещик... Ну, да что об этом толковать, наше дело сторона. Проходит год, прошел другой, приятель наш из кожи лезет, а дело ни на шаг не подвинулось вперед. С лица переменялся, позеленел. «Брось, — говорю, — плюнь на нее!» — «Не могу», — говорит. Что значит эта проклятая страстишка! Сначала он держал ее за замком, как невольницу, но увидел, что это не помогает, дал ей полную свободу. Мало, отдал ей весь дом в ее распоряжение, окружил ее

всевозможную роскошью. Сам сделался ее лакеем, чего ей больше? Нет, батюшка, не тут-то было! И на глаза не пускает. Вот оно где хохлацкое упрямство или вообще упрямство женское. Помучился он с нею еще полгода и думал уже бросить ее, окаянную, и ехать на воды лечиться. Как бац! от предводителя дворянства письмо, или, лучше сказать, формальное требование, чтобы он, ротмистр такой-то, по требованию высшего начальства, назначил цену крепостной своей крестьянке такой-то и получил деньги из комитета раненых на законном основании. Он с этою бумагою прямо ко мне, я прочитал и, признаюсь, стал в тупик. «Уж не проведало ли высшее начальство, — подумал я, — о его шашнях? Да нет, высшему начальству теперь не до того». Думали мы, думали, да тем и кончили, что ничего не выдумали. Прошел еще месяц. Приятель наш ни гу-гу — дожидает, не пройдет ли гроза мимо. Не прошла гроза. Получается другая бумага от того же предводителя, с прибавлением, что такой-то матрос, Яков Обеременко, за свою храбрость и увечье, полученное им при защите Севастополя, просит у комитета раненых освободить родную сестру его от крепостного состояния, а в заключение было сказано, чтобы он или сам, или доверил кому получить деньги в Киеве — сумму, какую он сам назначит. А он, чтобы не назначать и не получать этой суммы, он уехал с нею в Киев, да там и обручился. Каков молодец! Он и венчаться там же думал, да ей-то захотелось, чтобы брат венец над нею подержал.

«Вот тебе и героическая поэма!» — подумал я.

— Не правда ли, прекрасная история? — спросил родич зевая.

— Порядочная! — отвечал я рассеянно.

Часа за два до захода солнца кузина подвязала себе щеку и осталась дома, а мы с родичем поехали к новобрачным.

Дорогой я переделал свою героическую поэму на сию скромную «Прогулку с удовольствием и не без морали», а что дальше будет, увидим.

К[обзарь] Дармограй

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Итак, мы с приятелем вдвоем, то бишь с родичем, поехали в гости к новобрачным, оставив мнимо больную кузину дома обдумывать на досуге, как ей вести себя с выскочкой, очаровательной соседкой. Выехав из села и потом из липовой темной рощи, мы очутились на извилистом живописном проселке, вьющемся по открытому полю, изредка уставленному огромными суховерхими дубами. Проехав легкой рысью версты две, родич мой велел кучеру остановиться около колоссального сухого дуба, положившего свои обнаженные сухие корни, как длинные безобразные ноги, поперек дороги.

— Хотите, — сказал родич, обращаясь ко мне, — я вам покажу темную историческую букву? Вы человек ученый, не нам чета. Может быть, вы ее и прочитаете.

Я просил родича показать мне эту историческую темную букву. Он указал мне на круглую небольшую дыру в стволе дуба, из которой в это мгновение вылетела сова.

— Вишь ты куда спряталась, — сказал кучер, глядя на улетающую сову.

А родич спросил меня, знаю ли я это дупло? Я отвечал, что не знаю.

— Так отгадайте, если мудрец, — продолжал он таинственно.

— Дятел выдолбил на досуге, я думаю, — сказал [я], ни о чем не думая.

— Дятел, только не простой, а чугунный. Посмотрите хорошенько да пощупайте, так и узнаете, какой там сидит дятел, — проговорил он самодовольно.

Я вышел из экипажа, посмотрел в загадочное дупло, и, как бы вы думали, что я там увидел? Величины в добрый кулак чугунное ядро.

— Каков дятел, а? — спросил родич смеясь.

— Хорошо, — отвечал я, подходя к экипажу. — Каким же родом и когда он сюда залетел? — спросил я своего спутника.

— А это уже ваше дело. Мы люди темные, как и эта историческая буква. Стало быть, и вы не прочитаете? — продолжал он иронически.

— Не прочитаю, — сказал я, садясь в коляску.

— Полагать надо, что здесь происходило когда-то в старину большое сражение, — проговорил он значительно и, подумавши, прибавил: — А может быть, и артиллерийская мишень где-нибудь близко стояла.

— И то быть может, — сказал я, и мы пустились далее.

Его простая догадка разом разрушила мои мрачные исторические предположения насчет засевающего в дупле ядра, и я взглянул веселее на едва позеленевшее поле, уставленное изредка суховерхими дубами. «И какое могло быть сражение на этой райской местности?» — спросил я сам себя простосердечно, забыв, что и в самом даже раю зарезал брат брата. Едва успел я вспомнить это первое братоубийство, как на горизонте райского поля нарисовались два кургана, и на одном из них торчал какой-то пирамидальный маяк. За двумя большими курганами открылось еще несколько могил меньшего размера. А у самой опушки темного леса, в котором прятался наш извилистый проселок, показалось небольшое земляное четырехугольное укрепление. Точно такой формы и величины, как на поле около Листвена, близ Чернигова, где Мстислав Удалой резался с единоутробным братом своим Ярославом, — с тою разницею, что лиственское укрепление засеивается хлебом, а в этом забытом историей бастионе догадливый хозяин сложил в скирды собранный с поля хлеб. Прежде боевая ограда теперь служит оградой плодов трудолюбивого земледельца. Отрадное превращение!

— А мой дурак экономят, небось, не догадается устроить и у себя такой же фольварок, — проговорил мой спутник, глядя на укрепление, украшенное скирдами прошлолетнего хлеба.

— У вас разве есть такое же гнездо? — спросил я его.

— Есть, только поросшее лесом, — отвечал он. — А знатная выдумка. Непременно велю вырубить лес и устроить у себя такую же штуку.

Я не сказал ему ни слова на эту гениальную агрономическую затею, и мы безмолвно въехали в

темный безмолвный лес.

От берегов тихого Дона до кремнистых берегов быстротекущего Днестра — одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия народа; даже и песни одни и те же. Как одной матери дети. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых детей великой славянской семьи не одинакова. На полях Волыни и Подолии вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат, некогда великолепных, как, например, в Остроге или Корце. В Корце даже церковь, хранилище бальзамированных трупов фамилии графов Корецких, сама собою в развалину превратилась. Что же говорят? О чем свидетельствуют эти угрюмые свидетели прошедшего? О деспотизме и рабстве! О хлопах и магнатах! Могила, или курган, на Волыни и Подолии большая редкость. По берегам же Днепра, в губерниях Киевской, Полтавской, вы не пройдете версты поля, не украшенного высокой могилой, а иногда и десятком могил. И не увидите ни одной развалины на пространстве трех губерний. Кроме разве у богатого затейника-помещика нарочно развалившийся в саду деревянный размалеванный храм Весты а ля ротонда Тиволи. Что же говорят пытливому потомку эти частые темные могилы на берегах Днепра и грандиозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? Они говорят о рабстве и свободе. Бедная, малосильная Волынь и Подолия, она охраняла своих распинателей в неприступных замках и роскошных палатах. А моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина туго начиняла своим вольным и вражьим трупом неисчислимые огромные курганы. Она своей славы на *поталу* не давала, врага деспота под ноги топтала и свободная, нерастленная умирала. Вот что значат могилы и руины. Не напрасно грустны и унылы ваши песни, задумчивые земляки мои. Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя.

Пока я разоблачал эту мрачную археологическую задачу, темный лес, которым мы ехали, стал еще темнее. Верхушки высоких старых кленов и ясеней, недавно блестящих на светло-фиолетовом фоне неба, потемнели. Значит, солнце закаталось. «Не мешало бы и шагу прибавить», — подумал я. Да прибавить-то его трудно. На каждом шагу или выбоина, наполненная жидкой грязью, или древесный корень, как бревно, растянулся поперек дороги и ждет, как бы доброму человеку колесо сломать или иначе как-нибудь напакостить.

Случится иногда шагов десятка два-три и хорошей дороги. Зато, как нарочно, сухой пень выйдет из лесу, как разбойник Гаркуша, и станет посередине бархатной дороги. Что хочешь, то и делай. Несколько поколений чубатых земляков моих ломают оси о подобного разбойника, а он стоит себе как ни в чем не бывало, только белые бока его немного выпачканы смолою и ничего больше. Хоть бы зарубка, хоть бы тень намерения уничтожить этого сокрушителя осей. Ничего, ни малейшего знака. «Пускай стоит себе, где его Бог поставил», — говорят наивно земляки мои и преспокойно продолжают ломать свои крепкие грабовые оси. Это еще ничего. В лесу не штука сломать одну-другую ось. Сказано — лес. А попробуйте-ка вы доказать эту удаль среди бела дня и среди гладкой широкой степи. Вот это так штука, и немцу, пожалуй, не ухитриться. А земляк мой ухитрился. Он, изволите видеть, ехал столбовой дорогой. Вез сено в город продать москалям уланам. Это было утром рано. Волы двигались тихо вперед, а земляк мой, лежа на сене, тоже тихо пел песню: вероятно, панегирик своим круторогим товарищам. Пел, пел, да, не кончивши песни, и уснул. А круторогие товарищи шли, шли себе потихоньку, да и остановились, задев осью за размалеванную новую версту, как нарочно поставленную край дороги. Под влиянием ароматического сена и плотного *сниданья*, т. е. завтрака, земляк мой таки порядочно всхрапнул. Проснулся он в самый полдень, благодаря палящим лучам солнца. Проснулся и видит, что его круторогие братья лукавят, остановились. Он взмахнул на них длинным *батогом* своим, братья тронулись, и передней оси как не бывало. А изумленный земляк мой с мягкой душистой постели скатился на жесткую сухую землю. Лениво поднялся он, осмотрелся вокруг себя и, видя размалеванную причину катастрофы, — с расстановкою

проговорил: *«Проклятая нимота що наробила, доброму чоловікови и в степу тисно стало!»*

О мои милые, непорочные земляки мои! Если бы и материальным добром вы были так богаты, как нравственной сердечной прелестью, вы были бы счастливейший народ в мире! Но, увы! Земля ваша — как рай, как сад, насажденный рукою Бога-человеколюбца. А вы только безмездные работники в этом плодоносном, роскошном саду. Вы Лазари убогие, питающиеся падающими крупцами от роскошной трапезы ваших прожорливых ненасытных братии.

— Напрасно, — сказал я, обращаясь к родичу, — вы взяли коляску, в бричке мы бы скорей приехали.

— Думали, что и барыня поедет с нами, — ответил кучер за безмятежно храпевшего своего барина.

— А далеко еще до Курнатовских? — спросил я у кучера.

— А бог его знает, — отвечал он. — Если бы вырубить этот проклятый лес да поставить версты, то можно бы их сосчитать и тогда сказать. А так, как его скажешь, недолго до греха, пожалуй, и совершь. А если не вырубить лес да поставить версты, так, я вам скажу, и версты ничего не помогут. Сказано, — лес, — прибавил он, обращая ко мне лицо. — Пустыня непроходимая! Того и смотри, экипаж сломаешь, да и прстоишь сутки-другие. Вот тебе и версты! Они только помеха в лесу, ничего больше.

— Какая же помеха? — спросил я его.

— А такая помеха. Заглядишься на его, ирода размалеванного, а пень или ухабина как тут. Будто сам сатана, не при нас будь сказано, — и он перекрестился, — подсунет под экипаж. Вот вам и версты. Вам-то, разумеется, ничего. Вы любуетесь ею, сколько хотите, читаете себе цифру и ничего больше. А нашему брату так не под стать этим делом заниматься. Слава Богу, что я неграмотный, а то бы часто доставалось мне за эти иродовы версты. И кто их выдумывал? Верно, москали, чтобы в поход ходить было веселее. Больше некому выдумать такую штуку.

Проговоривши остроумное заключение, он достал из-за пазухи трубку, огниво и стал высекать огонь.

Густая, темная пустыня мало-помалу начинала редеть, проясняться и, наконец, совсем расступилась. Остались только черные великаны дубы по сторонам дороги, как заколдованные пастухи вокруг заколдованного черного стада.

Дорога была ровная, гладкая. Коляска, однако ж, двигалась так же медленно, как и в лесу. Осторожный философ-кучер покуривал трубочку и не давал воли своему кнуту. А разумные кони и подавно не давали воли своим быстрым ногам. Мы двигались, что называется, ощупью. Через несколько минут лошади укоротили свой и без того короткий шаг. Я почувствовал, что мы спускаемся с горы.

— Не нужно ли затормозить? — спросил я у кучера.

— Не нужно. Гора не крутая и дорога хорошая, — отвечал он, не вынимая изо рта трубки. И мы продолжали спускаться потихоньку. Спустившись с горы, мы опять очутились в лесу. Только тут дорога уже была заметно шире и ровнее. Вправо показались конические черные верхушки тополей. Подъехав к тополям, кучер взял круто направо, и мы очутились в широкой тополевой аллее. На горизонтальной линии показались огоньки, не в равном один от другого расстоянии.

— Вот вам и Курнатовка, — проговорил кучер, по-прежнему не вынимая трубки изо рта.

— А где это огни видно? Не [на] фабрике ли какой-нибудь? — спросил я его, глядя на разной величины светящиеся пятна.

— Какое на фабрике! Это в господском доме, — отвечал он насмешливо. — Там такие палаты, что вы только ахнете. У нашего пана кошары лучше будут, — прибавил тем же тоном и медленно махнул кнутом.

Лошади фыркнули от этой нечаянности и пошли едва заметной рысцей. Из широкой тополевой аллеи мы въехали на широчайший двор, окруженный с трех сторон одноэтажным приземистым зданием. В углу налево, над растворенной небольшою дверью, горели два фонаря. Неужели это парадный подъезд? Не успел я задать себе этот вопрос, как коляска остановилась именно у этой дыры, освещенной двумя фонарями.

II

Не без труда разбудил я своего любезного спутника, и мы выгрузились из экипажа. В дверях нас встретил колоссальный великолепный швейцар с булавою и чистейшим моим родным наречием спросил, как мы прикажем о себе доложить *панови*. Доложение оказалось лишним, потому что сам пан выбежал в коридор и принял нас в свои широкие объятия. После неоднократных лобызаний хозяин вывел нас из узенького коридора в большую, но низкую и грязную комнату, освещенную одной зеркальной солнцобразной лампой. В комнате пахло подвалом. Мы отдали верхнее платье заспанному и тоже колоссальному лакею и последовали за хозяином. Вошли в длинную, узкую и тоже низкую, вроде коридора, комнату, обитую красными под штоф обоями, освещенную великолепной лампой с бумажным разноцветным колпаком. Кроме овального стола и красного длинного оттомана, мебели никакой не было в этой уродливой комнате. Из этой уродливой комнаты, и так же вслед за хозяином, проникнули мы в потайную, иначе назвать нельзя, узенькую и низенькую дверь, покрытую такими же обоями, как и стены комнаты, в бесконечно длинный узкий коридор, освещенный двумя солнцобразными лампами. Не пройдя и половины коридора, хозяин открыл такую же потайную дверцу и впустил нас в большую четырехугольную комнату, уставленную разношерстными, не домашней, а чуть ли не Гамбсовою работы, кушетками и так же освещенную столовой лампой с каким-то бородатым оруженосцем, поднявшим на копье разноцветный бумажный колпак.

— А что же ваша милейшая Агата к нам не пожаловала? — спросил хозяин у моего родича, пожимая ему руки.

— Она что-то не совсем здорова, — отвечал мой спутник запинаясь.

— Жаль, очень жаль! — проговорил хозяин трогательно и тоже запинаясь. — А мы бы составили преферансик. Жаль, очень жаль. Прошу садиться, господа! — прибавил он развязно, указывая на разношерстные кушетки, и, лукаво улыбаясь, прибавил: «На каком угодно инструменте». Хлопнул в ладоши, и на этот султанский зов явился мальчик в красной гусарской куртке. «Чай и трубки!» — сказал хозяин, и гусарик исчез.

Из той самой двери, в которой скрылся миниатюрный гусар, вылезла высокая, тощая, лысая, с огромными усами, довольно грязная фигура в военном сюртуке без эполет.

— Рекомендую, — сказал хозяин, указывая на представшую фигуру, — однополчанин, однокашник, Иван Иванович поручик Бергоф.

Незнакомец молча поклонился и протянул нам свои длинные костлявые руки. Мы ответили тем же, и тощая длинная фигура молча отошла в угол и расположилась на одном из инструментов. Тишина была нарушена миниатюрным гусариком, явившимся с бесконечными чубуками, и бесконечным, как чубуки, лакеем, принесшим на огромном серебряном подносе чай в стаканах и ром в реповидном зеленом графине, не миниатюрного размера. Хозяин бесцеремонно долил ромом нарочито неполный стакан моего родича и передал графин мне.

— Гелена моя... — сказал хозяин и остановился. — Гелена моя, — продолжал он, усаживаясь на кушетку с ногами, — сегодня тоже не совсем здорова.

— Что с нею? — спросил я с участием.

— Так, ничего... Я на эти вещи совершенный философ. Пускай их что хотят, то и говорят. Собаки полают, да и перестанут. — Я совершенно ничего не понял из сказанного хозяином-философом. Родич мой значительно кивал головой и улыбался, из чего я заключил, что и он понял не больше моего.

После третьих стаканов чая с прибавкою речь зашла о лошадях, о собаках и, наконец, о соседях и соседках. В числе последних несколько раз произносилась фамилия мадам Прехтель, и всякий раз с каким-нибудь додаточным, например, «каракатица» или «кубическая».

Верно, эта мадам Прехтель порядочная женщина, а иначе они с уважением бы об ней говорили. Разговор становился оживленнее, бестолковее и грязнее и кончился тем, что хозяин велел подать стол, карты и просить панну Дороту. В одну минуту все было исполнено, а в довершение всего явилась и панна Дорота. Она молча кокетливо присела и подошла к столу. Не без удивления узнал я в панне Дороте ту самую старую дуэну, у которой я так нецеремонно отнял свой чай на почтовой станции.

Игроки уселись по местам, и я остался ни при чем.

В обществе картежников, занятых своей профессией, самая жалкая и пошлая фигура — это зритель. А кузина моя, не тем будь помянута, не знает в своей жизни ничего трепетнее и сладостнее, как безмолвно созерцать чужие двойки и тройки. Это для нее выше всякой картинной галереи. Все равно, что для Скотинина свинарник, если не сладостнее. Но, увы! она не предвидела блаженства, случайно выпавшего на мою долю, и сдуру повязала щеку и осталась дома. Простофиля! А я дурень необтесанный! Чтобы не играть роли автомата, любимой роли моей красавицы кузины, я оставил равнодушно сонмище картежников и вышел из кабинета или гостиной, — черт его знает, что оно такое, — в ту самую дверь, из которой выползла безмолвная панна Дорота. Пройдя узенький недлинный коридорчик, очутился я в большой круглой комнате, раскрашенной синими и красными полосами, на манер турецкой палатки. Круглый большой посередине стол и красный турецкий диван около стен составляли украшение и мебель комнаты. Да еще о четырех рожках висячая лампа ярко освещала затейливую залу и длинновязого лакея, убиравшего со стола чайные атрибуты. Простак, не видя меня, приложил горлышко зеленого репообразного графина к своим огромным губам, но, увы! вотще: хозяин и гости ничего не оставили.

Из мнимой турецкой палатки было четыре выхода, и я выбрал противоположный тому, из которого вошел в мнимую палатку. Новое, и совершенно новое явление. Длинная галерея, освещенная несколькими тоже солнцобразными лампами, разделялась с одной стороны деревянными перегородками на небольшие чуланы, заномерованные римскими золотыми цифрами. Чуланов было десять, и каждый из них украшался горбатой кушеткой и топорной

работы картиной отвратительного содержания. Это ничего больше, как домашний гарем господина Курнатовского, открытый и лампами освещенный вертеп разврата! Гнусно! отвратительно гнусно! Не это ли та самая всевозможная роскошь, которою окружил он теперишнюю жену свою и о которой мне говорил мой простодушный родич? Еще гнуснее и отвратительнее! Посмотрим, что дальше откроется. Из возмутительной галереи вошел я в осьмиугольную большую комнату, размалеванную в китайском вкусе и освещенную китайскими фонарями. Комната имела тоже четыре выхода, украшенные надписями красными буквами. Над дверью, из которой я вышел, было написано: «Наслаждение», над противоположной дверью — «Движение», направо — «Отрада», а налево — «Награда». Со стороны «Отрады» и «Награды» несло конюшней и псарней; я выбрал фирму «Движение» и очутился в темном ароматическом саду.

III

Не успел я сделать несколько шагов по узенькой дорожке, как услышал звуки шарманки, наигрывавшей какой-то вальс. Звуки неслись с левой стороны и казались недалеко от меня. Я сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Влево тянулась длинная и узкая тополевая аллея, а в конце ее светился красный фонарь. Я направился к красному фонарю. Пройдя аллею, я остановился в изумлении. Передо мной нарисовался ярко освещенный павильон или что-то вроде сарая. И в нем-то визжала неугомонная шарманка и двигались какие-то белые фигуры. Шарманка играла вальс, а фигуры не кружились, как бы этого следовало ожидать, а двигались взад и вперед, звучно притопывая ногами. «Странная дисгармония», — подумал я, подходя тихонько к павильону. Осторожно, как кошка, подкрался я к одному окну и увидел... Как бы вы думали, что я увидел? Толпу прехорошеньких деревенских девушек в белых свитках, преусердно танцующих *метельцю*. А мой великодушный однорукий герой еще усерднее играет на шарманке вальс.

Из толпы прекрасных наивных танцовщиц бросалась в глаза [одна], прекраснее и грациознее своих подруг, с барвинковым венком на голове. Это была сестра моего героя, мадам Гелена Курнатовская. Я прильнул к окну так плотно, что чуть стекла не выдавил своим лысым портретом. Танцовщицы так искренно, чистосердечно делали свое дело, что я не опасался за свою нескромность. Они не только меня, и пожару не заметили бы в эти блаженные минуты.

Это, впрочем, меня несколько не извиняет. Я все-таки немного смахивал на волокиту Актеона. Недоставало только быстроглазой Дианы, чтобы увенчать меня венцом, недоверчивым мужьям приличным.

Вчера — пышная прекрасная невеста богатого пана, а сегодня — крестьянка, подруга своих бедных подруг. Сегодня она прекраснее и великолепнее вчерашней пышной невесты. И как она искренно обнимает и целует своих подруг... Я замирал от умиления, глядя на этот простор непорочного и высокоблагородного сердца.

Пан Курнатовский, значит, соврал. Его Геленочка здорова и совершенно счастлива. Она и не думала приглашать к себе своих высокомерных и пустых соседок. Она, как верная любящая подруга, пригласила своих таких же верных и любящих подруг и простосердечно весело празднует с ними свое необыкновенное *весилля* (свадьба).

Неутомимый виртуоз устал, наконец, вертеть шарманку, отнял свою единственную руку от блестящего завитка и медленно опустился на стул. Танец кончился. Первая из танцовщиц подошла к нему его сестра, поклонилась ему чуть не до земли, заплакала, зарыдала, судорожно обвила его широкие плечи своими белыми руками и прильнула к его суровому лицу своим нежным прекрасным лицом. Суровый оборонитель Севастополя не устоял. Как жемчуг

светлый, заблестели крупные слезы на его смуглых щеках и покатались на расплетенные черные косы счастливейшей сестры.

Если это не полное счастье, так полного счастья нет между людьми. Я прильнул еще плотнее к стеклу, а она, изменница, отскочила от своего всхлипывавшего брата и скрылась в толпе тоже всхлипывающих подруг. Подруги одна за другою чинно подходили к своему обязательному музыканту, кланялись в пояс и благодарили за труды. А между тем явилась и она, зардевшаяся, с огромным подносом в руках, заваленным разнородными сладостями, и с припрашиванием потчевала своих воистину дорогих гостей.

Неутомимый виртуоз, принявши должную дань трудолюбию и искусству, спокойно встал со стула, пощупал шарманку с другой стороны и принялся вертеть. Шарманка вместо вальса запищала полонез Огинского, а танцорки, завернув торопливо в платочки неконченные лакомства, стали одна против другой в прежнем порядке и дружно приударили прежнюю метельцу.

После продолжительного танца была отдана та же честь трудолюбивому музыканту и то же угощение неутомимым танцоркам. Окончив потчеванье, хозяйка поставила тяжелый поднос на шарманку, сказала что-то шепотом брату, а обратившись к подругам, проговорила вслух: «Нумо, сестры, вечерять».

— Нумо, — отозвались подруги в один голос.

Я рассудил за благо оставить свой обсервационный пост и убраться восвояси с миром, дивясь бывшему. Да и что интересного в жующих людях, а тем более в девушках? Плотоядные, травоядные животные и только. Даже в зоологическом отношении не интересно.

Как ловкий вор, невидимкою нырнул я в какой-то колючий кустарник, пробрался к красному фонарю и выполз на знакомую тополевою аллею.

Только что почувствовал я себя вне опасности быть открытым, как передо мной показались два мужика с большими корзинами на головах. Нечаянная встреча эта так меня ошеломила, что я совершенно растерялся. Остановился среди аллеи и не знал, что с собою делать. Мужики проходили мимо меня, и один из них, забыв о своей ноше, вздумал мне поклониться. Корзина потеряла равновесие, и звонкие тарелки с громом посыпались на землю и окончательно меня уничтожили. На этот предательский гром выбежала из павильона сама хозяйка и за нею несколько девушек. А я сделал три шага им навстречу, — глупее я ничего не мог сделать, — и остановился. А вежливый виновник всей этой суматохи на вопрос хозяйки: «Что сделалось?», — подбирая битые тарелки и бережно их складывая в корзину, проговорил едва слышно: «Паныч». (Так называли они Курнатовского.) Хозяйка взглянула вокруг и, увидя меня, бросилась ко мне, обхватила руками мою преступную голову и принялась целовать, восторженно приговаривая: «Серце мое! Дружино моя!» И я почувствовал ее теплую слезу у себя на лице. «Ты приходил посмотреть на мою свадьбу, на мою радость?» Тут я догадался, в чем дело: она приняла меня за своего мужа. С сожалением, правда, я отвел ее лицо от моего лица. Мы взглянули друг на друга.

— Боже мой, что я сделала! — вскрикнула она, закрыв лицо руками.

Через минуту она открыла лицо и, обращаясь ко мне, сказала:

— Простите мне, я приняла вас за своего мужа. Я думала, он пришел посмотреть мою деревенскую свадьбу.

— Вы меня простите ли за мою нескромность? — и тут же ей открыл все свое похождение.

— Так вы гость наших добрых соседей? — сказала она с расстановкой и, взяв меня за руки, прибавила: — Так будьте же и моим дорогим гостем. Зайдите хоть на минуточку, хоть только взгляните на мою свадьбу и на моего единого друга, на моего милого брата!

Едва она кончила фразу, как брат ее стоял уже перед нами и неловко кланялся. Как старому знакомцу, я протянул ему руку, хозяйка взяла меня за другую, и мы пошли к павильону. У самого входа у меня родилась оригинальная мысль. Я остановился, просил сестру и брата оставить меня за дверью и выслать ко мне мужика, виновника суматохи. Мужик тотчас вышел. Я не без труда уговорил его надеть мой фрак, а сам нарядился в его праздничную белую свитку. Переобразившись таким образом и взявшись за руки, вошли мы в павильон. Брат и сестра после мгновенного недоумения с восторгом обняли меня и, взявши под руки меня и моего товарища, подвели к тесно скупившимся девушкам в другом конце залы. Девушки сначала молчали, но, взглянув на своего Гарасыма во фраке и в беспредельно широких шароварах, фыркнули и звонко захохотали во весь девичий молодой хохот.

— Майстер! Майстер! Гарасым-майстер! — повторяли они сквозь хохот. А Гарасым, майстер тарелки бить, не в шутку рассердился и начал было снимать с себя смехотворный фрак. Чего ему, однако ж, не позволили. А когда уgomонились и меня осмотрели девушки, то в один голос назвали настоящим *гречкосием*. Чем я был сердечно доволен. Простодушные, они не знали, что сказали мне любезнейший комплимент как актеру. После этого чистосердечного комплимента я так вошел в свою роль, что, не говоря о гостях, сама хозяйка и ее брат, оставив принужденное великороссийское наречие, заговорили со мной по-своему, т. е. по-малороссийски.

Сколько я был весел, развязен и счастлив, столько бедный Гарасым-майстер угрюм, связан и несчастлив. Насмешницы не давали ему покоя и довели его, бедного, до того, что он снял с себя фрак, и если б не хозяйка удержала его мощные руки, то не рисоваться бы мне больше на свадьбах и крестинах в моем долговечном, неизносимом фраке. Он разорвал бы его и бросил, как тряпку, негодную даже на онучи, чем, между нами будь сказано, Трохим был бы очень доволен. А мне пришлось бы продолжать роль *гречкосия* до возвращения к родичам. Кончилось, однако ж, тем, что по настоянию хозяйки майстер Гарасым натянул на себя снова фрак. И до того повеселел и развернулся неуклюжий Гарасым, что, когда после ужина вынесли стол из павильона и шарманка загудела снова какой-то вальс, майстер Гарасым, взявшись в боки, да так ударил козачка, что только окна зазвенели. Хозяйка, гости, я и даже молчаливый защитник Севастополя залились самым чистосердечным смехом.

И правду сказать, было чему смеяться. Если бы мертвый встал из гроба да взглянул на земляка моего, одетого, как Гарасым теперь был одет, и плясал бы вдобавок козачка, то, уверяю вас, если бы он не захохотал, то по крайней мере улыбнулся бы. Такое смешное превращение и самому Овидию Назону в голову не приходило.

Хозяйка и гости уже устали хохотать и только усмехались, поглядывая друг на друга. А неутомимый майстер Гарасым, казалось, только что начал входить в душу своих бесконечно выразительных па. Резвые насмешницы, наконец, и улыбаться перестали, и только некоторые из них от избытка удивления восклицали: «Оце то так!» — «Настоящий пан в кургузому жупани!» — прибавляли другие. Но Гарасым, ничего не видя и не слыша, продолжал с успехом начатое дело. «Та цур тоби, Гарасыме! — сказали девушки в один голос. — Який ты там у черта пан! Ты наш настоящий майстер Гарасым!» — Танцор, услышав, что с него снято позорное название пана, остановился, выдергал из-под рукава фрака широкий рукав своей белой рубахи, вытер им мокрое свое лицо и, начиная с хозяйки, перецеловал всех насмешниц,

приговаривая: «От вам и пан! От вам и пан!» Потом снял с себя фрак и, подавая мне, поклонился и сказал: «Спасыби за позычки!»

— И вам спасыби, пане майстре Гарасыме! — сказал я, передавая ему свитку. Он надел свою свитку, поклонился хозяйке и вышел из павильона. Тогда я обратился к одной из девушек и спросил:

— Какой Гарасым майстер?

— Всякий, — отвечала она, — що схоче, то те й зробить.

Не много же узнал я о настоящей профессии Гарасыма.

Гости, почувствовав, что лучшего финала им не придумать, поблагодарили звонкими поцалуюми свою счастливую подругу за угощение и вышли вслед за Гарасымом.

Хозяйка велела другому мужику, товарищу Гарасыма, погасить огни и ложиться спать, где ему заблагорассудится. Потом, взяв меня и брата за руки, вывела нас в сад. В саду сказала она брату:

— Иди ты, Осипе, приготовь квартиру нашему дорогому гостю в новом доме и приставь к ней старого Прохора для услуги. А вы, мой дорогой единственный гость, — прибавила она, дружески пожимая мою руку, — проводите меня в покои.

Расставшись с моим героем, мы тихо, молча пошли вдоль аллеи.

IV

Проходя молча знакомую тополевую аллею, мы несколько раз останавливались и слушали, как резвые подруги моей прекрасной грустной спутницы пели свадебные песни, удаляясь от павильона. В последний раз мы остановились у самой двери, ведущей в дом, под фирмой «Движение», и долго слушали исчезающие звуки веселой песни. Постепенно стихая, звуки наконец затихли, а спутница моя все еще стояла молча, как бы прислушиваясь к родным сердцу милым звукам. «По хатам разошлись мои подруги», — едва слышно она проговорила и, как ребенок, зарыдала. Малейшим движением я не смел нарушить ее глубокого тихого стенания. Она искренно, чистосердечно прощалась с своими подругами, с своей бедной девичьей волею. Она теперь только сознавала свое тесное рабство. Теперь только она почувствовала над собою волю немилостивого и чуждого ей человека во всех отношениях. Бедная, что ждет тебя впереди? Что встретишь ты на избранной тобой дороге?

— Не правда ли, я совершенно счастлива? — сказала она, утирая слезы и судорожно пожимая мне руку. Я недоверчиво взглянул на нее, и она продолжала: «Вы не верите? Скажите же, друже мой добрый, имела ли хоть одна на всем свете сестра такого брата, как я имею? И как я виновата перед ним! — прибавила она вполголоса. — Мне бы надо идти в черницы и молиться за его Богу. А я что сделала?» — И она снова заплакала.

«Минуты счастья минули, настали годы испытаний!» — говорит какой-то поэт. А я, глядя на мою героиню, сказал: «Если останешься навсегда такою чистою и непорочною, как теперь, то минута твоей светлой радости продлится до гроба». Она как бы подслушала мою мысль, вдруг остановила слезы, перекрестилась, кротко взглянула на меня, улыбнулась, и мы молча вошли в китайскую комнату.

— Видите, какое у нас сегодня праздничное освещение в доме? — сказала она, снимая с

головы своей барвинковый веночек. — Он, муж мой, ждал к себе сегодня гостей, а гости, кроме вас, и не приехали. Значит, я наполовину угадала. Да и кто теперь поедет к нему? Никто, кроме Прехтелей, а он сам их чуждается.

— Скажите мне, Бога ради, что за люди эти Прехтели? — прервал я ее.

— Наши близкие соседи, добрые люди. Он искусный доктор, а она лучшая женщина во всем околотке.

Значит, я не ошибся, выводя заключение из слов моей милой кузины и ее благородного друга. Молча и быстро прошли мы галерею о десяти незагадочных чуланах и очутились в круглой комнате, раскрашенной под палатку, перед лицом самой панны Дороты.

Она стояла у круглого стола, покрытого белой чистой скатертью. Засучив рукава и повязав салфетку вместо фартуха, она глубокомысленно готовила к ужину кресс-салат с душистым огурешником.

— Моя кохана панно Дорото, — сказала по-польски моя спутница, — витай моего дорогого гостя, пока я переоденуся. — И она мгновенно скрылась.

Панна Дорота медленно подняла голову, неопределенно взглянула на меня и едва заметно кивнула головой. Я сделал то же. Она прошептала: «Прошу садиться». Я сел. Я чувствовал, что мое положение самое незавидное, если не самое глупое. В критических обстоятельствах, в таких, например, как теперь, я тупо ненаходчив, да и панна Дорота, кажется, не острее меня. Долго молча сидел я и смотрел на старую идиотку и наконец подумал:

«Так это твоя мать, наставница и гувернантка? Хороша, нечего сказать! От кого же ты, моя милая героиня, выучилась русскому и польскому языку? А главное, от кого ты приняла и так глубоко усвоила этот нежный такт и эти милые, сердечные манеры? От Бога? От природы? Так, но и помощь людская тут необходима».

Такие и подобные вопросы и задачи вертелись в голове моей до тех пор, пока тихо, как ласковая кошечка, вошла в комнату моя прекрасная спутница, одетая изящно и просто. Пока я удивлялся ее превращению, она, приложив пальчик к губам, на цыпочках зашла в тыл панне Дороте и быстро закрыла ее опущенные глаза своими детски маленькими ручками. Пока панна Дорота вытирала салфеткой свои мокрые руки, шалунья отняла свои руки и быстро, как кошечка же, отпрыгнула ко мне и, падая на диван, звонко засмеялась.

— *Сваволишь*, Гелено! — ворчала недовольная панна Дорота, поправляя свой измятый чепец.

— Не буду, не буду, моя добрая, моя любая мамочко! — говорила Гелена и, подойдя к старой ворчунье, нежно поцаловала ее в лоб. Старуха улыбнулась и, возвратив шалунье поцелуй, спросила ее о чем-то шепотом. Та ответила ей тем же тоном. Вероятно, речь шла обо мне. Пока все это происходило, я продолжал удивляться превращению резвушки. Ни тени бывшей крестьянки. От волоска до ноготка барышня, да еще и барышня какая! Самая элегантная. В какой школе, в каком институте она выучилась так к лицу, так изящно-просто одеваться? Удивительная вещь чувство изящного! На ней было темно-серое шелковое платье с такими широкими прекрасными складками, какими щеголяют только одни Рафаэлевые музы. В темной роскошной косе с несколькими листочками зелени, как яхонт, блестел яркий синий барвинковый цветок. Узенький воротничок и такие же рукавчики довершали ее изящный наряд. Кому бы в голову пришло, глядя на эту четвертую грацию, спросить у нее, читает ли она русскую грамоту? Вот же мне пришел в голову такой и, скажу, — основательный, вопрос.

— О чем это вы так тяжело задумались, мой драгоценный гость? — проговорила она, подходя ко мне.

— О том, о том, — говорил я, глядя в ее прекрасные умные глаза, и чуть-чуть не проговорился.

— О чем же, скажите? — спросила она вкрадчиво.

— Завтра скажу, а сегодня не могу. Или вот что, — прибавил я нерешительно. — Наденьте опять барвинковый веночек, тогда скажу.

— Скажете?

Не успел я произнести «да», как она выпорхнула в галерею с отвратительными чуланами. И пока я поднимался с мягкого оттомана, как впорхнула она опять в круглую комнату с барвинковым венком на голове.

— Муза Терпсихора! — воскликнул я от изумления.

— Где музыка? — спросила она наивно.

— Вы муза гармонии! Вы самая вдохновенная, самая возвышенная музыка! — отвечал я восторженно. Я восхищался ее замешательством, ее восхитительно живописной юной головкой в барвинковом венке с яркими синими цветами. Иной хват тут же бы упал на колени, как перед богиней, и в любви объяснился. Я сделал иначе. Налюбовавшись досыта моей музой, я усадил ее на оттомане и, полюбовавшись еще немножко, сказал:

— Вы прекрасно объясняетесь по-русски и по-польски, читаете ли вы хоть на одном каком языке?

— Читаю, — отвечала она без малейшего смущения, — и даже писать начинаю. По-польски меня учит панна Дорота, а по-русски старый Прохор, тот самый, что будет вам прислуживать.

— Простите же мне мой грубый, но дружеский вопрос, мадам Гелена, — прибавил я почтительно.

— Как хотите, так и называйте. Только полюбите меня и моего единственного брата, — прибавила она, сквозь слезы улыбаясь. — А за вопрос ваш я вам сердечно благодарна. Вы мне желаете добра. — Она хотела еще что-то сказать, как вошел в комнату длинный лакей, и подойдя к безмолвной слушательнице нашего разговора, спросил:

— Не пора ли на стол накрывать?

Панна Дорота отвечала тихим наклоном головы и, обращая[сь] к нам, проговорила по-русски:

— Не угодно ли будет пожаловать в кабинет?

— Не угодно ли вам самим пожаловать в кабинет? Я буду за порядком смотреть. Я теперь хозяйка.

— И прекрасно, — сказал я дружески и последовал за непрекословною панною Доротою в кабинет.

Молча, как безобразные привидения, в облаках табачного дыма сидели приятели и резались в

штос, или, как выражается мой немноглаголивый родич, недоимку собирали.

Так как талия была в ходу, — она лилась из искусных костлявых рук Ивана Ивановича Бергофа, — то наше присутствие в кабинете и не было никем замечено. Пользуясь неизвестностью, я отошел в темный угол и кое-как уселся на горбатой кушетке. Панна Дорота тоже воспользовалась неизвестностью и, поморщившись, отошла в сторону от немилосердно курящих рыцарей зеленого стола. И тоже кое-как опустилась на горбатую кушетку и призадумалась. Полно, так ли? Она, кажется, просто бессмысленно смотрела на густой табачный дым и совершенно ничего не думала. Глядя на ее жалкую фигуру, я в первый раз спросил себя, кто она? и что она у господина Курнатовского? Дальняя ли родственница, шляхтянка бесприютная? Нянька ли его и тоже шляхтянка бесприютная? Может быть, и то и другое, кроме порядочной женщины. Порядочная женщина несовместна в доме у человека, даже ближайшего родственника, который заводит гарем из собственных крепостных крестьянок. И, женившись на одной из одалисок своих, он и не думает сделаться ее другом, ее заступником. Он по-прежнему ее владыка, он настоящий султан, гусар. На второй день после свадьбы понтирует себе молодецки и знать ничего не хочет. Он сделал свое дело, да и в сторону. А она, простодушная, с восторгом встречает его в саду, думает, что он, добрый, идет разделить с нею ее непорочную радость, хотя в окно взглянуть на ее счастье, на ее задушевный праздник! А он... животное! Самое отвратительное животное! А что же панна Дорота? Тоже грязное животное. Порядочная женщина скорее протянет руку во имя Христа за гнилым огрызком хлеба, чем станет готовить салат для роскошного стола сластолюбца и развратителя.

Не слишком ли я прогулялся насчет панны Дороты? Она, если не любит, по крайней мере не презирает бывшей невольницы. А это много. Развращенная женщина этого не сделает. Кузина моя? Но это дело другого рода. Что же, наконец, такое эта безмолвная панна Дорота? Гиероглиф пока, таинственный гиероглиф, над которым сам Шампольон призадумался бы. Но время открывает истину. Время и прилежное исследование открывает возмутительные дела сильных мира сего, давно уже забытых великодушным потомством. Время, надеюсь, и мне объяснит эту, пока загадочную, жалкую панну Дороту.

А пока не войдет лакей и не возвестит о уготованной трапезе, нарисую вам, благосклонные слушатели, картину самого зазорного штоса, а в особенности штосмейстера, т. е. банкмета. Нет, не могу! Я не живописец пошлых, отвратительных сцен и бледных деревянных физиономий. Да и что нового, оригинального в этой безнравственной, гнусной картине? Содержание ее одно и в Сан-Франциско, и в кабинете Курнатовского, и на любой ярмарке. Декорация только не одна. В Сан-Франциско, например. Там содержатель игорного вертепа нанимает женщину, т. е. подобие женщины, чтобы она, как адская царица Прозерпина, на троне присутствовала при состязающихся шулерах.

Нет худа без добра. Хорошо, что моя милая кузина ничего не читает! Иначе она прочитала бы записки Ротчева о Калифорнии и заставила бы своего тетерю ограбить крестьян и ехать прямо в Сан-Франциско для того только, чтобы покрасоваться в интересной роли Прозерпины. Шепнуть ей разве когда-нибудь об этой назидательной роли? Да она меня расцалует за эту новость. Забудет все нанесенные мною ей оскорбления. Забудет даже, что я первый сообщил ей известие об уничтожении ее идола — эполет. Забудет все. Но все-таки усомнится о таком неслыханном блаженстве на земле.

Но не о ней речь. Она нечаянно под перо подвернулась. А речь о том. Где у нас в России та великая академия, которая образовывает таких бездушных автоматов, штос— и банкмейстеров, как, например, Иван Иванович Бергоф? Нигде больше, я думаю, как в кавалерии. Хотя и пехотинец иной при случае лицом в грязь не ударит, но все-таки далеко не

то, что кавалерист. Далеко не то! Недаром моя милая кузина благоговеет перед кавалеристами, в особенности перед гусарами.

Наконец, длинный лакей явился и сиплым басом возгласил о уготованной трапезе. Картежники не шевельнулись, они как будто ничего не слышали, а мы с панной Доротой молча вышли в круглую залу, она же и столовая.

V

Посередине залы стоял круглый великолепно сервированный стол. А посередине стола возвышалась поставленная в серебряную вазу античной формы сосновая ветка, увешанная конфетами, пучками колосьев овса и повитая гирляндой из барвинковых цветов. Это была не немецкая елка, а так называемое *гильце*, непременно украшение свадебного стола у малороссиян.

Безмолвная панна Дорота взглянула на милую затею своей Гелены, улыбнулась и прошла к дивану. Я, тоже безмолвный, остановился [перед] наивным украшением, возведенным до изящества. Сам Бог тебя умудряет, моя прекрасная Елена. Самой прекрасной Елены не было в зале, когда я так думал, любясь ее милым произведением. И, чтобы хоть с кем-нибудь разделить свой тихий восторг, я обратился к безмолвно улыбающейся панне Дороте и сказал ей по-польски какой-то современный ее юности комплимент за воспитание ее милой Гелены. Она вместо улыбки сделала гримасу, и любезность ее тем кончилась.

Один за другим вошли в залу картежники и, ничего не замечая, молча торопливо сели за стол, не рядом и не один против другого, а так, как попало.

— Подавай! — сказал хозяин длинному лакею. Лакей скрылся в одну дверь, а из другой двери тихо, плавно, как лучезарная Аврора, вышла хозяйка в белом шелковом платье такого же самого покроя, как и прежде. Я замер от восторга и едва мог подняться с оттомана, чтобы благоговейно приветствовать восходящее светило. Картежники не заметили ее торжественного появления. Они мрачно погрузились в свои серебряные приборы. Она, как испуганная белая голубка, на мгновение остановилась, робко взглянула на гостей, тихо, едва слышно подошла к мужу, поцаловала его в зардевшийся лоб и молча села возле него, давая мне знак, чтобы я садился рядом с нею. Я повиновался. Панна Дорота села с другой стороны около своего фаворита. Тишина царила в нашей разнообразной компании. Наконец, хозяин возмутил ее мрачное владычество, сказавши, обращаясь к жене:

— Я думал, ты сегодня не совсем здорова.

— Совершенно здорова, — сказала она, принужденно улыбаясь. — И совершенно счастлива, — прибавила она, глядя ему в очи.

— А я не совсем счастлив, — проворчал он.

— Что случилось? — спросила она быстро.

— Ничего, друг мой, продулся малую толику, — отвечал он принужденно.

Она не поняла, в чем дело, и, минуту помолчав, сказала:

— А у меня сегодня были гости, мои подруги. И как мы танцевали! Как было весело! Особенно, когда пришел к нам наш дорогой гость. — И, улыбаясь, она взглянула на меня.

— Кто же это такой наш дорогой гость? — спросил он ее, набивая свой широкий рот ароматическим патефуа.

— Мой сосед, — сказала она, показывая на меня.

— Я думаю, вам было очень приятно в таком милом обществе? — сказал хозяин иронически.

— Больше, нежели приятно, — весело! — сказал я.

— Правда, вы художник, это в вашем вкусе, — проговорил он, гложя кость.

Я не нашел нужным подтверждать его справедливое замечание, и тишина снова воцарилась.

Прекрасная хозяйка растерялась и не находила слов для своих мрачных гостей. Как голодные собаки, они молча грызли кости и запивали каким-то вином. Гости торопились и давились костями. Им было недосуг. Изумленная и оскорбленная хозяйка, как овечка кроткая, робко поглядывала на своих волков-гостей и не знала, чему приписать эту мрачную торопливость. После жаркого картежники выпили по стакану шампанского, налили по другому, переглянулись меж собой, встали из-за стола, молча поклонились хозяйке и вышли в кабинет вместе с хозяином и со стаканами в руках.

— А пирожное! а яблука! — сказала смущенная хозяйка.

— Пришли нам в кабинет, — говорил ротмистр возвращаясь и, оскоря свои белые большие зубы, прибавил, протягивая жене руку:

— Подай мне на счастье свою руку.

Она молча подала ему руку и вскрикнула от нелицемерного пожатия. А он как ни в чем не бывало повернулся и вышел из зала.

Как беломраморная надгробная статуя, опустила она свою прекрасную голову на высокую грудь и неподвижно молча сидела оскорбленная, моя прекрасная Елена. Я смотрел на нее, прекрасную, поруганную, и с замиранием сердца чего-то ожидал. Она тяжело вздохнула, грустно улыбнулась, взглянула мне в глаза и едва слышно прошептала: «*Весилля!*» И, как жемчуг, крупные блестящие слезы полились из-под ее длинных опущенных ресниц.

Панна Дорота смотрела на нее и молчала. Я тоже не мог выговорить ни слова. А она плакала, тихо и горько плакала. Я дыханием не смел нарушить тишины. Тишины, во время которой на алтарь семейного счастья приносилась великая таинственная жертва. Она, простая, бедная крестьянка, она, пламенная, непорочная, любящая и так грубо оскорбленная, — она глубоко и в первый раз в жизни почувствовала эту ядовитую горечь оскорбления. И заплакала не как обыкновенная женщина, но как женщина возвышенная, глубоко сознающая собственное и вообще женское достоинство. Горе тебе, едва распустившаяся лилия Эдема! Тебя сорвала буря жизни и бросила под ноги человеку грубому, сластолюбцу холодному. Теперь только ты узнала настоящее горе. И, как над дорогим сердцу покойником, ты заплакала над своим умершим счастьем.

— От вам и *весилля!* — сказала она, улыбаясь и утирая слезы. — Я думала, что не буду сегодня плакать, да и заплакала... А вы, моя милая панно Дорото, — продолжала она дрожащим голосом, — что же вы не плачете? Вы моя мать, вы меня замуж снаряжаете. — И она снова зарыдала.

Панна Дорота посмотрела на нее пристально и принялась чистить яблоку. Я понимал настоящую причину ее слез и, как мог, растолковал ей, что значит картежник. Она поняла меня и непритворно успокоилась. А вскоре до того развеселилась, что налила себе, мне и панне Дороте в бокалы шампанского.

— За здоровье вашего брата! — сказал я, подымая бокал. Она медленно, сердечно, нежно посмотрела мне в глаза, молча подала мне руку, мы чокнулись и дружно выпили вино.

— Гелено, *сваволишь*! — проворчала панна Дорота.

А Гелена вместо ответа вполголоса запела:

Упылася я,
Не за ваши я.
В мене курка неслася,
Я за яйця впылася.

И, кончивши куплет, наклонилась к своей старой ворчунье, крепко поцаловала ее в нахмуренный лоб.

— *Сваволить*, Гелено! — повторила панна Дорота, и мы встали из-за стола.

— Что же нам теперь делать? — сказала хозяйка, опускаясь на оттоман.

— Спать, — сказал я добросовестно.

— Я спать не хочу. Я теперь бы танцевала, до самого утра танцевала бы, — говорила она, смеясь и лукаво поглядывая на панну Дороту.

— За чем же дело стало? — сказал я. — Пойдем опять в павильон, я буду вертеть шарманку, а вы танцуйте с панной Доротой.

— Нет, не так, мы панну Дороту заставим играть, а с вами будем танцевать. Мамуню моя! — прибавила она, нежно цалуя свою дуэну. — Пойдем в павильон!

— *Сваволить*, Гелено! — проворчала невозмутимая старуха и отрицательно кивнула головой.

— А я вам не буду читать «Остапа» и «Ульяну», когда вы ляжете спать. Я ей каждую ночь читаю, — продолжала она, обращаясь ко мне, — а она один час не хочет для меня повертеть шарманку. Ей-богу, читать не буду! А завтра и цветы не полью до восхода солнца. Пускай вянут! Вам же хуже будет. Придется другие садить. А я и другие не полью. Пойдем же, моя мамусенько, хоть на один часочек! — и она нежно прижалась к панне Дороте.

— *Сваволить*, Гелено! — проговорила та своим деревянным голосом. Гелена задумалась на минуту и потом сказала, обращаясь к своей дуэне:

— Пойдем лучше спать. Я вас раздену, моя мамочко, накрою вас и буду вам читать, до самого утра буду вам читать.

— Желаю вам короткой ночи, — сказал я кланяясь.

— Подождите, я вас проведу до швейцара, а то вы заблудите в нашем Вавилоне, и передам вас на руки старому Прохору, — говорила она, вставая и охорашиваясь.

Я не отнекивался от этой милой услуги и вслед за хозяйкой вышел в одну из четырех дверей. Пройдя узкий коридор и известную уже читателю красную комнату, мы вышли опять в коридор и очутились у выхода на двор. Она постучала в дверь. И вместо колоссального швейцара явился маленький жиденский старичок с фонарем в руке.

— От вам и Прохор, — сказала она мне и, обращаясь к старичку, продолжала: — А ты, Прохоре, будь ласкав, як очей своих стережи сего пана. Прощайте, — сказала она, подавая мне руку.

Едва успел я выговорить: «Прощайте!», как она уже исчезла в глубине коридора, и только шум шелкового платья долетал до меня.

Я стоял неподвижно и слушал этот гармонический шум. Прохор, казалось, тоже был под влиянием этой безгласной гармонии. Так прошло несколько минут. Прохор первый очнулся и выпустил меня на двор.

Пройдя небольшое пространство за Прохором или, вернее, за фонарем, мы очутились на лестнице и, взойдя во второй этаж, вошли в чистую небольшую комнату, а потом в большую, освещенную восковой свечой. Я поблагодарил и отпустил Прохора. Разделся. Погасил свечу и утонул в чистой свежей постели.

VI

Против обыкновения я скоро заснул. Спал крепко, но не долго. Едва начал проникать слабый свет сквозь белые прозрачные сторы, как я проснулся. Отвернувшись к стене, попробовал было заснуть снова, но напрасно и пробовал. Происшествия минувшей ночи разом завертелись в моем воображении и не давали мне покоя. Не припомню, которой ногой я встал с постели и подошел к окну, чтобы взглянуть на фасад этого безобразного лабиринта, в котором я встретил такую прекрасную волшебницу.

Приподнял стору, и первое, что мне попало на глаза, — это старый Прохор. Он шел через двор с умывальной посудой в руках и с полотенцем через плечо. Ничего не могло быть для меня больше кстати. Стало быть, Прохор не промах в лакейской профессии. А с виду-то он не похож на члена этого многочисленного праздного, растленного сословия. Он более смахивал на скотника, дворника или огородника, но никак не на лакея. И что ей вздумалось назначить мне такую нецеховую прислугу? Не сказал ли ей кто-нибудь, что я терпеть не могу цеховых мастеров лакейского дела? Сочувствие, ничего больше. А между тем в переднюю комнату тихо вошел мой личарда. Минуту спустя он едва слышно кашлянул и, отворив тихонько дверь, показал мне свою кроткую, тощую физиономию.

— Добрыдень вам, — сказал он хриплым дискантом. — Чом же вы не спыте? — прибавил он, растворяя дверь.

— Не спытсья, Прохоре! — отвечал я ему его же наречием.

— Не спытсья, — повторил он едва слышно. — Дыво, и в карты не граете, и не спыте. Так будем умыватсья, колы так, — говорил, ставя умывальный прибор на стул.

— А разве паны все еще играют в карты? — спросил я его.

— Грають, — отвечал он лаконически.

«Молодцы!» — подумал я тоже лаконически. И, любясь кроткой, грустно улыбающейся миной Прохора, спросил его, не был ли он когда-нибудь садовником или пастухом чужого стада?

— И садовником, и пастухом був, — отвечал он, глядя на меня пытливо.

— А еще чем был? — спросил я его.

— И паламарем, и бродягою, и кобзаря слипого водыв колысь ще малым. От и в лакеях Бог велив побувать. — Последние слова проговорил он едва слышно.

После омовения я наскоро, без помощи Прохора, оделся, взял шапку, палку и вышел в переднюю.

— Вы, мабуть, такой самый пан, як я ваш лакей, — сказал Прохор, оглядывая меня. — Я еще и сапоги не вычистил, а вы вже и одяглись.

— Завтра вычистишь, Прохоре, — сказал я и вышел за двери.

— Не заблудите в наших вертепах, — сказал догадливый Прохор, притворя дверь.

Вышел я на середину широкого, покрытого зеленой муравой двора и посмотрел вокруг себя. И во сне не видал я безобразно оригинальнее здания, какое уви[дел] теперь наяву. Ни тени стройности! ни малейшей симметрии! Двух окон во всем здании нет одной величины. Во всем здании какое-то умышленное безобразное разнообразие. Окна, двери, крыши, трубы — все ссорилось между собою, как пьяные бабы на базаре. Из-за какого-то сарая с круглым окном и шестиугольной дверью выглядывали три старые вяза, точно три мужика подошли полюбоваться на свое пьяное неугомонное *подружив*. Все, что я видел вокруг себя, было действительно похоже на базар в самом развале. С какой мыслью, с какой целью нагромождено это бестолковое безобразие?

Необходимо войти в ближайшие отношения с Прохором. Он должен знать хоть по преданию этого сумасшедшего строителя. Интересно узнать такого чудака. Мне кажется, тут есть что-то общее между панной Доротой и этим зданием. Да нет ли еще в народе легенды или песни про этот Вавилон? Ежели есть, то Прохор, верно, ее знает. Решено: во что бы то ни стало, а я добьюсь толку в этом бестолковом деле.

А пока со двора вышел я на широкую тополевую аллею, по которой мы вчера въехали в этот лабиринт. Пройдя аллею, вышел я на пригорок. Посмотрел вокруг — лес непроходимый, из лесу кой-где рядами в разных направлениях торчали верхушки тополей и вился яркий голубой дымок по направлению к дому. «Не бывший ли это разбойничий притон?» — спросил я сам себя и возвратился вспять, дивясь виденному.

Мне хотелось пробраться как-нибудь в сад. Но как? Этого я не знал. И благоразумно предоставил это дело случаю. Случай не замедлил представиться. Из аллеи, по которой я выходил и теперь возвращался в дом, показалась мне в правой руке узенькая дорожка, или, как говорят земляки мои, волчья стежка. Я воспользовался волчьей стезей и вошел в темный липовый лес. Пройдя шагов сотню, в лесу показался фруктовый сад без всякой ограды. Пройдя фруктовый сад, я, как околдованный богатырь, остановился перед тремя ветвями расхидившейся дорожки. Подумал с минуту и выбрал крайнюю слева, ведущую, как мне казалось, к дому. Избранная мною дорожка вилась между старой *лещины* (орешник), между которой торчали тоже старые, толстые, развесистые липы и такие же суховерхие грабы и клены. Все это было освещено теплым утренним солнцем и, как пишется, само просилось под кисть живописца. Но мне в это время было не до живописи, меня занимал вопрос, куда приведет меня волчья дорожка? А чтобы разрешить эту задачу, я удвоил шаги, и только что я удвоил шаги, как наткнулся на толстый белый корень, лежащий поперек дорожки. Я остановился, поднял голову. Смотрю — и вижу: старый, сухой огромный клен распустил свои

обнаженные ветви, как патриарх седой воздел дряхлеющие руки над чадами чад своих, моля о благословении Вездесущего.

Как ни был я занят результатом таинственной дорожки, но перед дряхлым праотцем орешника остановился и чуть-чуть было не снял шапку. Так иногда случается встретиться на улице благообразного старца, и рука невольно подымается к шапке. Это прекрасное чувство, я думаю, врожденное уже в человеке, а не воспитанием усвоенное. Как бы там ни было, только я, как перед живым существом, с благоговением остановился перед усохшим величественным кленом. Солнечные лучи, проскользнув сквозь густые ветви орешника, упали на его древние, обнаженные стопы, т. е. на корни. И так эффектно, так ярко, прекрасно осветили их, что я сколько можно дальше отодвинулся назад, уселся в тени орешника и, как настоящий живописец, любовался светлым, прекрасным пятном на темном серо-зеленом фоне. Как долго я наслаждался этой картиной, не помню. Помню только, как крупная капля росы с листьев орешника упала на лицо и разбудила меня.

Проснувшись, я рассудил, что тут мне делать нечего, потому что светлое пятно исчезло. Остался только сухой клен и его самые обыкновенные корни. Лениво приподнялся я, стряхнул с себя сухие листья и, как ни в чем не бывало, пустился дальше по волчьей дорожке. Дорожка привела меня к какому-то сараю без окон и дверей, примкнутому к главному корпусу здания с разнокалиберными окнами. Сарай, вероятно, заключал в себе какую-нибудь фирму «Отраду» или «Наслаждение», т. е. конюшню или псарню. Дорожка, коснувшись помянутого сарая, повернула вправо. Я пошел далее. Кустарники орешника сменились кустарниками бузины, крыжовника и смородины. Значит, я добрался уже до настоящего господского сада. «Ладно», — думаю себе и продолжаю свой загадочный путь. Вскоре вышел я в тополевую аллею. Смотрю, в конце аллеи белеет какое-то здание. Не вчерашний ли это павильон? Он же и есть. Я прибавил шагу и через минуту очутился у знакомого павильона. Двери были растворены, вхожу и вижу безмолвную панну Дороту, сидящую за круглым столом перед блестящим огромным серебряным кофейником.

— Доброго *рана*, — сказал я ей, кланяясь.

— Доброго полудня, — ответила она, кивнув головой, и почти улыбнулась.

Едва успел я нецеремонно сесть против панны Дороты, как вбежала, или, лучше сказать, впорхнула в павильон ранней птичкой моя прекрасная Елена и повисла у меня на шее.

— *Сваволить*, Гелено! — проворчала дуэна и принялась разливать кофе.

— Где вы пропадали? — быстро спросила меня резвушка Гелена и, не дав мне выговорить ответа, продолжала:

— А брат хотел уже ехать за вами в Будище. А бедный Прохор плачет от горя. Я тоже чуть-чуть не заплакала, — прибавила она улыбаясь. — Да! — сказала она, как бы вспоминая что-то. — Мне нужно вам приятную новость сказать по секрету. — И, наклонясь ко мне, прошептала:

— Вы понравились панне Дороте!

— Рад стараться, — сказал я смеясь, а про себя подумал: «Убил бобра!»

— Не смейтесь, — сказала она серьезно. — Это большая редкость. Ей даже брат мой не нравится. Я не знаю, чтобы ей кто нравился, кроме меня и Прохора. А вы третий. Вот что! — прибавила она, взглянув на безмолвную панну Дороту.

— А когда так, — сказал я шутя, — так нечего напрасно время тратить. Честным пирком да и за свадебку.

— Она не пойдет замуж, — пресерьезно сказала прекрасная Елена. — Она давно уже черница, сестра кармелитка, и для меня только остается здесь и не едет в свой кляштор.

— Гелено! Кофе стынет! — сказала громко панна Дорота.

— Зараз, моя мамочко! — сказала нежно моя прекрасная собеседница и протянула руку к чашке.

После минутного молчания она снова обратилась ко мне и сказала:

— Я слышала, что вы умеете рисовать портреты. Нарисуйте мне мою мамочку, мою милую панну Дороту.

— *Сваволить*, Гелено! — проворчала панна Дорота и едва заметно улыбнулась.

— Не *сваволю*, моя любая мамуню, не *сваволю*. Когда вы уедете в свой кляштор, я буду смотреть на портрет ваш и буду ему книгу читать, как вам теперь читаю. Нарисуете? — прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

Я дал слово исполнить ее желание.

— И брата нарисуете? — спросила она наивно.

— И вас, и брата, и всех нарисую.

— Как я рада! Как я рада! — сказала она, хлопая в ладоши.

— А есть ли у вас краски? — спросила она после минутного восторга.

— Есть в Будищах, — сказал я.

— Так это все равно, что и здесь, — сказала она и выбежала из павильона.

Через полчаса она возвратилась назад и сказала:

— Брат сам едет в Будища и привезет вам все, и даже вашего Трохима. Брат мой его очень любит. А я его еще и не видала, — прибавила она. — Должен быть хороший человек, когда брат полюбил.

— Родной внук вашему Прохору, — сказал я.

— Ну, так, верно, хороший. И грамотный?

— Грамотный, — отвечал я.

— Как бы я была рада и счастлива, если бы мой брат выучился грамоте, — сказала она как бы про себя и призадумалась, склонив свою прекрасную головку на плечо траурной, неподвижной панны Дороты.

— Я сама его выучу читать, — сказала она, как бы от сна пробуждаясь. — А кто же его писать выучит? Прохор тоже писать не умеет. Он и читает только одну Псалтырь. Посоветуйте, что

мне делать? — прибавила она, обращаясь ко мне.

— Не только посоветую, даже помогу вам в этом добром деле, — сказал я и тут же предложил своего Трохима в наставники моему однорукому герою. Теперь уже не по привычке и не напрасно проворчала панна Дорота: «Сваволить, Гелено!» — потому что ее шалунья Гелена не дослушала моего предложения, бросилась ко мне на шею и принялась целовать меня со всей нежностью пламенно любящей сестры.

— Чем же мы с братом заплотим вам за любовь вашу? — сказала она, успокоившись.

— Любовью, — отвечал я спокойно. — Выслушайте меня, — продолжал я. — Вот мой план. Я вам оставляю моего Трохима на весь год. А вы отпустите со мною своего Прохора в Киев тоже на весь год. — Панна Дорота взглянула на меня и как бы испугалась. — Если только Прохор согласится оставить вас. — Панна Дорота по-прежнему опустила голову.

— О, наверно согласится. Я уговорю его.

Панна Дорота поморщилась и взглянула на свою Гелену. А та, поняв ее взгляд, и со слезами на глазах бросилась перед нею на колени и, цалуя ее руки, приговаривала: «Мамуню моя! Серце мое! Я сама возьму заступ и буду копать твои гряды еще лучше Прохора. Только отпусти его, моя мамочко, мое серденько!»

Панна Дорота, с минуту помолчав, наклонилась к ней, поцеловала ее в голову и едва слышно проговорила:

— Згода.

В это время робко вошел в павильон Прохор и, увидя меня, перекрестился и сказал:

— Слава Тебе Господи, Царю Небесный, найшлыся-таки! А я думав, що вы вже од нас на Басарабию помандрувалы, — прибавил он, улыбаясь и утирая пот с лица.

Подойдя к Прохору, я объяснил ему, в чем дело, не подозревая его несогласия. Но вышло иначе. Он выслушал меня внимательно, призадумался, а через несколько минут раздумья посмотрел на панну Дороту и лаконически сказал:

— Не пойду.

— Почему? — спросил я тоже лаконически.

— А на чии руки я их покину? — сказал он, указывая на панну Дороту.

— На их руки, — сказал я, указывая на хозяйку.

— Молоде! — сказал он и вышел из павильона.

Решительный отказ этого полуубитого бедняка мне чрезвычайно понравился. Это задело за живое мою хохлацкую натуру. Он человек, а не безответный раб, который умеет только сказать: «Как прикажете!» Я тут же дал себе слово склонить его на свою сторону. С этим упрямым намерением я обратился к своим собеседницам, сказал им про отказ Прохора и просил их уговорить его ехать со мною в Киев, хоть бы для того только, чтобы поклониться печерским чудотворцам.

— От вас теперь зависит, — прибавил я, — привести мой проект в исполнение.

Панна Дорота обещала свое содействие, я поцаловал ее костлявую руку. Предложил прекрасной Елене прогуляться со мной, но прекрасная Елена мне, своему Парису, отказала. Я раскланялся и вышел в сад.

VII

— А куды вас тепер Бог понесе? — спросил меня стоявший за дверями Прохор.

— А куда глаза глядят, — отвечал я.

— Куда глаза глядят, — повторил он шепотом. — А де вас тойди шукать, як заблудыте в нашому Вавилони?

На разумный его вопрос я не знал, что сказать ему. А он, глядя на меня, улыбался, поворачивая в руках свою шапку-чабанку.

Я никогда не любил прогулки с кем бы то ни было, ни даже с прекрасной и не сентиментальной женщиной. Прогулка сам-на-сам имеет для меня какую-то особенную прелесть. И я был в душе доволен отказом даже прекрасной Гелены. Теперь же, сознавая истину слов предусмотрительного Прохора, я готов был просить его сопутствовать мне по загадочному лабиринту, или, как он сказал, по Вавилону. И оно было бы весьма кстати. Во время прогулки я мог бы завести речь о панне Дороте и узнать всю подноготную. А ее подноготная меня сильно интересует.

— Не пойдешь ли ты, Прохоре, со мною погулять по вашему Вавилону?

— Ходимо, — сказал он, улыбаясь и накрывая свою лысину чабанкой.

В это самое мгновение выглянула из дверей очаровательная Гелена и позвала Прохора к панне Дороте. Я понял причину этой внезапной аудиенции и, отложив розыск о панне Дороте до другого разу, пустился наудалую куда глаза глядят.

Между заглохшими колючими кустарниками смородины и крыжовника выбрался я к жиденькому обветшалому мостику, перекинутому через буро-зеленую лужу без всякой надобности, потому что лужу скорее и безопаснее можно обойти. Я благоразумно обошел болото и по уступам между такими же колючими кустарниками поднялся на гору. На горе торчали в беспорядке старые полуусохшие тополи и одна широкая, развесистая липа, как добрая купчиха между тощими ассессоршами. Я прилег отдохнуть на горе, разумеется, около купчихи. Передо мною открылась панорама, на удивление неживописная в этом живописном уголке моей прекрасной родины. Прямо перед глазами — широкий сплошной черный лес, из которого торчали кое-где конические верхушки тополей и выглядывали широко и неправильно раскинутые черепичные крыши господского дома, уставленные безобразными трубами, из которых вился голубоватый дым. В правой стороне леса блестел широкий пруд. За прудом по косоугору раскинулось серенькое село, а в центре села торчала тоже серенькая деревянная церковь безыменной архитектуры. За селом на отлогой возвышенности махали крыльями, как будто жаркий спор вели между собой, две ветряные мельницы, а между ними по зеленому полю вилась темная дорожка и исчезала в узком однообразном горизонте, украшенном двумя небольшими могилами.

Неотдаленный горизонт для меня имеет, не скажу прелесть, но своего рода очарование. Меня всегда подмывает выйти на него и посмотреть, что за ним скрывается. Это неугомонное чувство мне еще в детстве покою не давало. Так, однажды, будучи лет шести или семи, смотрел я на подобный же горизонт, и мне вообразилось, что за ним небо склонилось к земле и

непрерывно уперлось на железные столбы. А иначе как же бы оно держалось? Я не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на эту интересную колоннаду. Пошел. И, к невыразимой досаде, увидел на медленно открывшемся таком же горизонте точно такое же село, как и наше. Так и теперь: лежу под липой, самого так и подергивает посмотреть, что за картина откроется за этими неугомонными мельницами. Но философ Бэкон учит сначала удовлетворять необходимое, а потом уже и любопытное. И я последовал его мудрому совету, тем более, что желудок мой начинал уже хлопотать о необходимом.

Любопытное я отложил до другого раза и тем же путем возвратился к павильону. Там уже никого не было. Не изменяя прежнего маршрута, я через час времени благополучно прибыл в штаб-квартиру. На дворе, как надо полагать, перед окнами кабинета, стояла коляска моего родича, а через двор его же кучер вел лошадей к экипажу.

— Поедем домой? — спросил я кучера.

— Поидемот назад пятамы, — отвечал он с неудовольствием, закручивая поводья около дышла.

Что бы значил его замысловатый ответ? Неужели мой плоский, бесстрастный родич не совсем плоский и бескровный? Неужели он не устоял против искушения и храбро загнул угол на свою капитальную подвижность? Но — «прежде заключения необходимо убеждение» — учит не Бэкон, а какой-то другой философ-юрист.

Войдя в свою комнату, я полуразделся, привел свою особу в горизонтальное положение и задумался о виденном вчера и сегодня. Дума поселила во мне неприятное, оскорбляющее чувство. Одна она, моя прекрасная, непорочная Елена, она, как светлая звездочка, горит в этом густом, тлетворном мраке. И для контраста ей, точно Магелланово облако, эта темная, неразгаданная старая идиотка, панна Дорота! Интересно бы узнать, на чем она покончила с Прохором. Едет ли он со мной в Киев или поставил на своем? Эта ли мысль или что другое заставило меня встать и подойти к окну. Прохор медленно шел через двор к моей квартире. А кучер моего родича тоже медленно шел ему навстречу. Они встретились, взяли за шапки, на минуту остановились и разошлись.

— Что проиграл? — спросил я входящего Прохора.

— И кони, и коляску, и Корния. Нашому Ивану Ивановичу. А до вечера, — прибавил он, — може, Бог поможе, и себе програе. Наш Иван Иванович молодець!

«Да и родич мой, как видно, не промах», — подумал я и спросил Прохора, чем он кончил с панной Доротой.

— Повезу вас у Киев, — сказал он нехотя.

— И давно бы так, — сказал я, сердечно радуясь, что переупрямил старого хохла. Полюбовавшись его кроткой физиономией, я самодовольно возвратился в комнату с намерением привести свою особу в горизонтальное положение и достойно отпраздновать одержанную викторию. Вслед за мною вошел в комнату Прохор и своим присутствием разрушил мое гордое намерение. Он остановился у дверей и молчал, а я ходил по комнате и тоже молчал. Он, кажется, ждал, пока я заговорю. А я ждал, что он мне скажет. Наше немое тет-а-тет могло быть очень продолжительным, — это в хохлацкой натуре, — если бы не нарушил его стук колес, раздавшийся под окнами моей квартиры. Этот неожиданный стук заставил Прохора открыть уста с намерением произнести: ах! Но этот глубокомысленный проект ему не удался. Стук колес еще отдавался в ушах моих, как в комнату вошел однорукий

герой мой и после приветствия отрапортовал мне, что приказания мои в точности исполнены.

— А где же Трохим? — спросил я моего героя, усердно пожимая ему руку.

— Они едут в карете, — отвечал он.

— Трохим? В карете? — восклицал [я] от удивления. — Расскажите мне, ради Бога, как это Трохим попал в карету? — спросил я улыбающегося моего героя.

— Весьма просто. Здешняя дорожная карета с поста еще оставалась в Будищах. А чтобы она там не гнила на дворе, я рассудил привезти ее в свое место.

— Прекрасно! — прервал я его. — Значит, вы лошади взяли у моего родича? — Вопрос этот я сделал для того, чтобы лошади сейчас же возвратить назад, а то как бы они не очутились на какой-нибудь шестерке или четверке.

— Зачем напрасно гонять кони? — отвечал он. — Я позычил две пары волов у отца Саввы, ее на волах и привезут сюда вместе с вашими вещами и с Трохимом Сидор... — Последнее слово почему-то он не договорил.

Я внутренне смеялся, воображая себе моего Трохима, величаво выглядывающего из великолепного дормеза, влекомого четырьмя волами. Я поблагодарил моего героя за хлопоты и думал уже идти навстречу Трохиму.

— Бог знает, кто о ком хлопочет, — сказал он кротко и выразительно, хватая меня за руку. Я отдернул свою руку. Тогда он охватил мою шею своей единственной рукой, и карие глаза его сверкнули слезою. Он принялся целовать мою голову. Безмолвно-красноречивая эта сцена была прервана входом старого Прохора; он спрашивал меня, где я хочу обедать: с панями ли в кабинете? или с панями в саду?

— Ни там, ни там, — сказал я. — А ты принеси нам сюда, мы будем обедать вместе с Осипом Федоровичем.

— И так добре! — сказал Прохор и скрылся за дверь.

Герой мой начал было отнекиваться от моей импровизированной вежливости. Но я уверил его, что его компания интереснее для меня генеральской и даже адмиральской компании. Последнее выражение смутило простака, и он скрыл его в пестром бумажном носовом платке.

А Прохор-то, старый немощный Прохор! Словно козачок покоевый, так и бегаёт взад и вперед. Не прошло и десяти минут, как уже все было готово. Водка, закуска и серебряная ваза с супом дымилась на столе. А Прохор, как ни в чем не бывало, стоял себе у дверей с салфеткой в руке и только улыбался.

Едва успели мы сесть за стол, как дверь растворилась и впрхнула к нам легкокрылой бабочкой сама очаровательная хозяйка.

— И я с вами обедаю, — сказала она, садясь между мной и братом. — А панна Дорота, — продолжала она, — поцеремонилась, пускай одна обедает.

— Ей, я думаю, совершенно все равно, — сказал я.

— О, нет! Панна Дорота любит веселую компанию. Едва успела она проговорить последнее

слово, как вошел

длинный лакей с высокою серебряною вазою и с торчащею в ней бутылкой шампанского. Ставя на стол сию интересную посудину, лакей проговорил:

— Пана Дорота приказали.

— Поблагодари панну Дороту. А ты, Прохоре, принеси бокалы, — прибавила она.

В продолжение обеда Прохор работал быстрее и ловчее французской камеристки. Я восхищался моим будущим слугою. Но когда дело дошло до шампанской бутылки, тут не только Прохор и мой благородный герой, я сам призадумался. Таинства сего гусарского искусства для меня закрыты. Но заменить меня было некем. И я принялся за дело. После долгих усилий пробка, наконец, вылетела и ударилась в потолок, а вино фонтаном брызнуло на стол. Я, однако ж, не растерялся, а, как следует, направил бешеную струю в законное русло. Хитрая моя операция привела старого Прохора в восторг. А чтобы продлить это наивное восхищение, я предложил ему выпить бокал *скаженой* воды. Он решительно отказался. С помощью милой хозяйки, наконец, я его уверил, что не так черт страшен, *як його малюють*. Против такого сильного аргумента сказать было нечего. И мы все четверо чокнулись и дружно выпили сердитое вино. Прохор легонько крикнул и едва слышно проговорил:

— Ничого сказать, смашна собака!

VIII

Очаровательная хозяйка после обеда сейчас же удалилась вместе с братом. За ними последовал и догадливый Прохор. А я, подумавши немного, сладко, мягко, бархатно-мягко сомкнул мои очарованные вежды, уложив свою особу на мягкой постели. Но, увы! Не успел я переступить границу действительности, как до полуслуха моего коснулись какие-то странные, неясные звуки, похожие на чтение Псалтыря над покойником. Вслушиваюсь, действительно чтение. И чтение церковное. И голос как будто знакомый. Но где этот знакомый голос? За стеной или под полом, не пойму. Я раскрыл глаза, но зрение слуху не помогло. Я встал, подошел тихонько к двери, растворил ее, смотрю — в передней никого нет. А звуки сделались явственнее и все-таки похожи на чтение Псалтыря. Нет ли и в самом деле у меня соседа какого-нибудь преставльшегося? Отворяю другую дверь, выхожу на лестницу — и ларчик просто отворялся. Псалмолюбивый сторож мой Прохор, чтобы не беспокоить меня своим псалмолюбием, расположился на самой последней ступеньке лестницы и по всем правилам дьячковской декламации борзо читает: «Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие». С удовольствием прослушал я псалом до конца и возвратился восвояси, дивясь бывшему.

Благоговейное чтение Прохора теперь на меня действовало иначе. Через несколько минут неясные звуки совсем исчезли, и мне уже начало представляться какое-то очаровательное видение, вроде прекрасной Елены, как вдруг раздалось прозаическое громкое: «Цабе, цабе!.. соб! птрру!..» Не могу сказать, что именно, но мне представилось что-то страшное. Я вскочил, подбежал к окну — и, о зрелище, достойное кисти Вувермана! Великолепный дормез, запряженный четырьмя огромными серыми волами, остановился против моей квартиры. Прохор отворил дверцу и, как какого-нибудь кардинала, высаживал из дормеза моего непышного Трохима. Эта оригинальная сцена во мне уничтожила даже мысль не только о сне, но и о самом полежаньи.

Земляки мои, в том числе и я, самую серьезную материю не могут не проткать хоть слегка,

хоть едва заметной шуточкой. Земляк мой (разумеется, невольно) в потрясающий финал «Гамлета» всучит такое словцо, что сквозь слезы улыбнешься. В доказательство я приведу пример исторический.

Сообщники Искры и Кочубея, поп N. N. и писарь Подобайло, после доброй пытки кнутом лежали окровавленные на полу под рогожею и рассуждали о том, что не мешало бы позычить у москаля кропила (кнута) для своих непослушных жен. Не правда ли, на своем месте шуточка?

Вот и я теперь. Готовлю своего Трохима в педагоги, к делу в высокой степени благородному и серьезному. Так бы и начать следовало это доброе дело. Нет, я вздумал его начать шуточкой, а от шуточки чуть было в прах не рассыпалось мое доброе и серьезное намерение.

Без малейшей причины пришла мне в голову нелепая фантазия притвориться сердитым на Трохима и посмотреть, что из этого выйдет. Когда он с помощью Прохора внес чемодан в комнату, я даже не взглянул на него, т. е. на Трохима. Он это заметил и взглянул на меня недоверчиво. Я продолжаю свою роль. Не обращая внимания на сконфуженного Трохима, приказываю Прохору принять по счету белье, книги и прочие вещи, а сам наскоро одеваюсь и ухожу. Глупо, удивительно глупо! Но я, как школьник, был доволен этой импровизированной глупостью.

Известной уже читателю волчьей тропинкой прошел я мимо патриарха-клена в также известную аллею и потом в заветный павильон. Тут встретила меня с братом прекрасная Елена и панна Дорота с чашкой чая в руке. После чая и веселого, живого разговора герой мой взялся за шарманку. Она завизжала какой-то вальс, а я с прекрасною Еленюю, как неистовый немец, закружился под это визжанье. Панна Дорота выглядывала из-за самовара и заметно улыбалась. А между тем начало уже заметно темнеть в павильоне. Мы вышли в сад. И тут-то я вспомнил о Трохиме и сообщил о его прибытии моему герою. Герой мой, как умел, раскланялся и пошел приветствовать своего профессора и друга. Я предложил моим спутницам прогулку по волчьей тропинке, они охотно согласились, и мы без особенных приключений засветла еще добрались до большой тополевой аллеи, ведущей к дому. В аллее встретился нам Иван Иванович Бергоф, едущий четверней в коляске моего возлюбленного родича. Гордый успехом, Иван Иванович показал вид, что нас не видит. А мы даже отвернулись, когда он проехал мимо нас. И поделом тебе, немецкий шулер!

При входе на широчайший двор нас встретил герой мой и с ужасом объявил нам, что Трохим пропал.

«Вот тебе и шуточка!» — подумал я, раскланиваясь с своими спутницами, и побежал на квартиру.

— Где Трохим? — спросил я торопливо Прохора.

— А Бог його святой знае, — ответил он равнодушно.

— Он тебе ничего не сказал, когда уходил? — спросил я нетерпеливо.

— Сказал... — и Прохор остановился.

— Что же он тебе сказал? Говори скорее.

— Он сказал... та цур ему! он нехорошее слово сказал...

— Говори скорее. Я все хочу знать!

— Он сказал, что на вас не только добрый человек, сам черт не угодит. И что когда он вам понадобится, так чтобы вы его и в Киеве не шукалы.

— Попроси ко мне Осипа Федоровича, — сказал я Прохору. Он поспешно скрылся, а через минуту явился ко мне опечаленный герой мой. Я объяснил ему, в чем дело, и просил его не медля отправиться в погоню за Трохимом.

— Он, верно, теперь в Будищах, у отца Саввы, — прибавил я. Герой мой вышел. Я остался и от нечего делать начал углубляться в смысл моей глупой шуточки.

Значит, я плохо знал моего Трохима, когда позволил себе подобную выходку. Глупо и еще раз глупо! И даже неоригинально глупо! Прохор первый думает теперь, что я тиран, что я бешеная собака, что со мною не только добрый человек, сам черт не уживется. Еще раз глупо!

— Пожалуйте, вас просят в покои, — проговорил Прохор, отворяя дверь.

— А в покоях ничего не говорят о Трохиме? — спросил я его экспромтом.

— А бог их святой знае. Назар-лакей говорит, что...

— Что Назар-лакей говорит? — перебил я его.

— Что, говорит, Трохим от вас убежал...

— Врет он! Трохим забыл в Будищах очень нужную мне книгу и пошел за нею. Кто же виноват? Не забывай! — прибавил я экспромтом, весьма неудачно и даже непростительно глупо. Ну, к чему мне было врать перед Прохором? Чтобы утвердить его мнение, что я действительно бешеная собака, да еще и хитрая собака. Одна ошибка ведет за собою другую. Это в порядке вещей. Как бы, однако ж, вывернуться из этого глупого порядка вещей?

Прохор лукаво посмотрел на меня, а я, как будто ничего не замечая, беспечно просвистал качучу, взял шапку и вышел.

«Врет да еще и присвистывает», — наверное, так подумал Прохор. Скрепя сердце, вошел я в известную круглую залу а ля турецкая палатка. В зале никого не было. Скрепя сердце, расположился я на оттомане в ожидании кого-нибудь. Наскучив ожиданием, скрепя сердце, вошел я в кабинет хозяина и наткнулся на происшествие такого свойства. Хозяин и мой возлюбленный родич сидели молча за испачканным ломберным столом, вперив багровые глаза и такие же носы в стаканы с дымящимся пуншем. По временам произносилось слово «моя», и за словом передвигался цалковый с одного конца стола на другой. Я долго не мог понять, что между ними происходит. Они играют, это верно. Но в какую игру? Наконец, я догадался. Они забавляются в муху, т. е. в чей стакан прежде упадет муха, того и приз. «Хороши мальчишки!» — подумал я, глядя на приятелей. И, гнушаясь их отвратительной забавой, я вышел из кабинета, не замеченный ими.

Я оставил приятелей, ругающихся за сомнительное плиз. В палатке-зале по-прежнему никого не было. Мимо десяти загадочных чуланов прошел я в китайскую залу с загадочными фирмами. И там никого не было. Я вышел в сад. Никого. В павильоне тоже. Куда же скрылась моя прекрасная Елена с своею дуэною? Задав себе такой вопрос, я прежними переходами возвратился в свою квартиру, лег и занялся внимательным созерцанием потолка. В непродолжительном времени Прохор отворил дверь и сказал, что меня просят на вечерю. Я

отказался от вечери и снова принялся за потолок. Не помню, на чем я остановился в своих тонких наблюдениях. Помню только, что я проснулся, погасил свечу, повернулся к стене и опять заснул.

Проснулся я рано, и мне живо представился заманчивый горизонт с двумя ветряными мельницами. Сем-ка проведу, что там делается за мельницами? Встал, надел шапку, взял палку и вышел. Златовласая, румяноланитая Аврора уже умылась алмазною росой и радостно улыбалась сладко дремавшей земле. Вдохнув свежим, влажным воздухом, вздрогнул легонько и, помолвившись Богу, направился к широкой тополевой аллее. Пройдя аллею, остановился я на распутии двух дорог. Одна мне знакома, она ведет в село Будища, а другая бог знает куда приведет. Я выбрал ту, которая бог знает куда приведет. Иду. Направо лес, налево поле, а впереди сереет село, подернутое облаком прозрачного дыма. Вхожу в село. Извилистая улица спускается вниз и соединяется с греблей. Ниже гребли мельница и винокурня, а по другую сторону, почти в уровень с греблей, блестящий широкий пруд. За прудом такое же сероватое село и вьющаяся улица по красноватому пригорку. На пригорке шинок. За шинком царыня, поле и две ветряные мельницы. Вас-то мне и нужно, голубушки!

— *Добрыдень, батьку!* — сказал я седобородому старику, прилаживавшему лубочные двери к своему куреню. — *Нехай Бог помагае,* — прибавил я, приподымая шапку.

— *Добрыдень, сыну! Нехай и вам Бог помагае,* — проговорил он, снимая шапку. — *А куда Бог несе?* — спросил он почтительно.

— Гуляю, батьку! — ответил я, проходя мимо его.

— *Гуляй соби с Богом, сыну!* — проговорил он, надел шапку и снова принялся за лубковую дверь. А я вышел в поле и пошел себе шляхом-дорогою, насвистывая какую-то украинскую песню.

Прошел я мимо ветряных мельниц и шаг за шагом незаметно поднялся на заманчивую возвышенность и вдруг остановился. Передо мною открылась не оригинальная и не новая для меня, но очаровательная картина. Обрамленная темным лесом, широкая и бесконечно длинная поляна раскинулась на отлогой покатости, уставленная в беспорядке старыми суховерхими дубами. Налюбовавшись до отвалу, мне вдруг пришла охота пощупать ногами эту старую неоригинальную картину. Крепко захотел — вполтину сделал. Проговоривши эту святую истину, пустился я ощупывать старую картину и, переходя от дуба к дубу, я нечаянно наткнулся на широкий и глубокий ров. Смотрю, за рвом на большом (приблизительно) пространстве двух квадратных верст зеленеет бархатная молодая пажить. А между этой тучной, роскошной зелени, как темные ленты, протянулись два *обнижка* (межа), и на одном из них гуляет высокий человек, весь в белом. Я далек от веры в заколдованные клады, которые счастливым являются тоже в белом. Но тут чуть-чуть не приблизился я к этой нелепой вере. Хорошо, что этот мнимый клад, увидя меня, стал ко мне приближаться. Когда он подошел на несколько шагов ко рву, я приподнял шапку, пожелал ему доброго утра и спросил:

— Чья это такая прекрасная пшеница?

— Доктора Прехтеля, т. е. моя! — Он приподнял белую фуражку и прибавил: — Имею честь рекомендоваться.

Я посмотрел на него внимательнее. Это был белый, свежий, худощавый, высокого роста старик в кавалерийском белом кителе и в таких же широких шароварах. С минуту стояли мы молча друг против друга. Я уже намерен был сказать что-то, как он внезапно уничтожил мой проект

вопросом:

— Вы нездешний? И, вероятно, заблудились?

— Ваша правда, я нездешний. Я художник Дармограй, — отвечал я, как будто растерявшись, что со мною делается всегда при первой встрече.

— Вашу руку! Я люблю художников, истинных Божиих детей, — проговорил он быстро и протянул мне руку. Я сделал то же и очутился в канаве. Он сделал мне сначала выговор за неосторожное движение. Потом подал мне руку и вытащил, аки пророка Даниила из рва левского, немного выпачканного грязью.

— Теперь здравствуйте как следует, — сказал он, улыбаясь и пожимая мои руки.

— Ваше имя? — спросил я его.

— Степан Осипович Прехтель. А ваше? — прибавил он быстро. Я сказал ему свое имя.

— Очень хорошо. Теперь пойдем к моей старухе. Она, как и я сам, тоже любит художников. — И, говоря это, он вывел меня на *обнижок*. Но как эта дорога оказалась тесною для двоих пешеходов, то он пустил меня вперед, а сам пошел за мною. Молча прошли мы зеленую ниву и вступили в молодую, аккуратно подчищенную дубовую рощу. Тут нас встретил красивый, здоровый парень в белой чистой рубахе и таких же широких шароварах. Парень снял смушевую черную шапку и кланяясь проговорил:

— Добрыдень, дядюшка!

— Добрыдень, Сидоре! — отвечал ему мой новый знакомый. — Что хорошее скажешь, Сидоре? — спросил он его.

— Тетушка София Самойловна вас послали шукать, — отвечал парень кланяясь.

— Добре, скажи — приидемо! — сказал доктор Прехтель моим родным наречием, что меня немало удивило, приняв в соображение его ученую степень и немецкую фамилию.

Пройдя дубовую рощу, мы очутились перед белою большою хатою с *ганком* (крылечко) и четырьмя, одной величины, окнами. Из-за хаты выглядывали еще какие-то строения, но я не успел их рассмотреть, потому что в дверях показалась кубическая, свежая, живая старушка в ширококрылом белом чепце и в белейшей широкой блузе.

— Рекомендую вам мою Софью Самойловну, — сказал Прехтель, показывая на приближающуюся к нам старушку. Я поклонился и проговорил свое имя и звание.

— Ах! — произнесла моя новая знакомка. И, обратясь к мужу, спросила:

— Где это ты взял такого дорогого гостя?

— Бог нам послал, друг мой, — сказал он, нежно целуя свою Софью Самойловну.

— Я вам пришлю кофе сюда в рощу, в комнатах еще беспорядок, — сказала она скороговоркой и скрылась в хату.

«Телемон и Бавкида», — подумал я, возвращаясь с хозяином в рощу.

— Теперь отдохнем, — сказал мой вожатый, садясь на дерновую полукруглую скамейку.

— Отдохнем, — проговорил я, опускаясь на ту же скамейку. Через минуту к нам подошла белолицая свежая девушка в малороссийском костюме и кланяясь сказала едва слышно:

— Де, дядюшка, прикажете стол поставить?

— Хоть за воротами, мне совершенно все равно, давай нам только кофе, — сказал мой амфитрион улыбаясь. Девушка вспыхнула и закрыла лицо белым широким рукавом рубахи.

— Ты слова путного никогда не скажешь, — сказала тут же очутившаяся Софья Самойловна. — Принеси скорее, Параско, круглый столик, — прибавила она, обращаясь к своей сконфуженной сотрудице. А старик взглянул на меня и лукаво мигнул глазом, как бы говоря: каков я!

В одну минуту белолицая Геба-Параска уготовала для нас пир с самомалейшими подробностями. На небольшом круглом столике она поместила все: и кофейник, и кофейничек, и кипяченые сливки в миниатюрных горшочках, и булки, и булочки, и сухари, и сухарики, и, наконец, две большие черные сигары и зажигательные спички. Недоставало одной Софьи Самойловны. Не замедлила и она явиться, но уже не в блузе, а в черном шелковом пальто и в щеголеватом свежем чепчике. Она присоседилась к нам, и после первой чашки кофе беседа завязалась. Я рассказал им подробно, кто я и что я. А они или, лучше сказать, она рассказала мне, не вдаваясь в мелочи, как это обыкновенно бывает у женщин ее лет, она рассказала мне все про свое житье-бытье, не касаясь ни одним словом своих соседок. Большая редкость у женщин даже и не ее лет. В заключение она сказала мне, что у них есть дочь-красавица, в Киевском институте, и что через месяц она оставит институт, и как она ее будет дома учить хозяйничать, и как замуж думает выдать. Тут только она вдавалась в подробности, но матери это простиительно.

Есть на свете такие счастливые люди, которым не нужна никакая рекомендация, с которыми не успеешь осмотреться хорошенько, как уже, сам того не замечая, делаешься своим, родным, без малейшего с твоей стороны усилия. А есть и такие несчастнейшие люди, с которыми и из семи печей хлеба поешь, а все-таки не узнаешь, что оно такое, человек или амфибия.

Не вставая с дерновой скамьи и до половины не докурив сигары, я узнал, что Степан Осипович Прехтель был когда-то штаб-лекарем в Курляндском драгунском, теперь уланском, полку. И что учился в Дорпате. И что Софья Самойловна — воспитанница графини Гудович, жены командира того самого Курляндского драгунского полка, в котором он служил когда-то медиком. И что в местечке Ольшане (Киевской губернии) они спозналися с Софьей Самойловной, там же и побрались. И что сначала было не без нужды, пока Степан Осипович не окрылился, т. е. пока не выслужил пансион и не оставил службу. Потом купили себе этот хуторок, обзавелись хозяйством да и живут, как у Бога за дверью.

В свою очередь и я разговорился и нарисовал им самыми радужными красками мою прекрасную Елену и ее благородного, великодушного рыцаря-брата. Я так увлек стариков своим рисунком, что они со слезами на глазах стали меня просить познакомить их с братом и с сестрою, о которых они уже слышали, но еще не имели счастья видеть благородную чету. Я обещал. Я предвидел от этого знакомства много прекрасного и полезного для моей героини и еще более для образованной красавицы, дочери Софьи Самойловны. Они разделят свое нравственное добро, как родные сестры, и обе будут богаты.

Старики предложили мне остаться у них обедать. Я не отказался. А в ожидании обеда Степан

Осипович предложил мне прогуляться по его Палестине. Я тоже не отказался. И мы пустились соглядать не широкое, но милое, чистое, аккуратное хозяйство медика-агронома.

О подробностях виденного мною я распространюся в другом месте. А теперь и не место, и не время, потому что Софья Самойловна послала уже своего Сидора-Меркурия просить нас к обеду. Я, однако ж, ошибся: Сидор, действительно, шел искать к обеду, только не нас, а карасей в пруду. И когда мы проходили греблю, то я уви[де]л сквозь тростник, как он вытащил тяжелую вершу и из нее посыпались в *човен* крупные золотистые караси. Я посмотрел и только облизался. «Каковы же эти приятели будут поджаренные со сметаной!» — подумал я и еще раз облизался. Приятели оказались, действительно, такими, как я думал. А вообще обед превзошел мое воображение своею простотою и чистотою до педантизма. После обеда Степан Осипович пригласил меня в свою лабораторию-библиотеку прочитать, как он выразился, знаменитое творение осьмого и первого мудреца Морфея. Перейдя темные сени, вступили мы в половину Степана Осиповича. Это была большая комната с четырьмя небольшими окнами, украшенными разной величины бутылками с разноцветными жидкостями. В промежутках окон помещались шкафы — одни с аптекарскими банками, а другие с книгами. На столах сушились первовесенние ароматические травы. А венцом украшения комнаты были две койки с чистыми, свежими постелями, на которые мы возлегли и заснули, да не как-нибудь по-воровски, а заснули по-хозяйски, т. е. до заката солнца.

Чтение знаменитого творения мудреца Морфея продлилось бы и долее, если бы не послышался из-за дверей знакомый звонкий голос Софьи Самойловны, спрашивавшей, — не желаем ли мы чаю; на что Степан Осипович лаконически отвечал: «Желаем!»

— А когда желаете, так выходите в сад, — сказала Софья Самойловна, стукнувши чем-то металлическим в дверь, вероятно, ключом.

Встряхнулись, умылись, оделись и, как ни в чем не бывало, вышли мы уже не в дубовую рощу, а в настоящий фруктовый сад, расположенный по другую сторону хаты. Уселись мы на дерновой скамье под старою огромною липою, раскинувшейся посередине сада.

— А как бы нам кто-нибудь преподнес воды и сахару или варенья, — сказал Степан Осипович идущей к нам Софье Самойловне.

— Ты настоящий немец! — сказала она, улыбнувшись одним углом рта, что делало ее необыкновенно милою старушкою. — Все бы ему воду да сахар. А чай куда денешь? Настоящий немец! — повторила она.

— И не сидел около немца! — сказал без улыбки Степан Осипович, закуривая сигару.

Софья Самойловна возвратилась в хату. И в скором времени белолицая, чернобровая Геба-Параска вынесла на подносе требуемый продукт, поставила на скамейку и проговорила краснея:

— Дяденька!.. Тетенька велели спросить у вас, не подать ли вам еще чего-нибудь?

— Перцу с луком и горчицы немного попроси у своей тетеньки. А потом уже чаю, — прибавил он не улыбаясь.

Как спелое яблоко, зарделася белолицая Геба и, закрыв лицо рукавом, убежала в хату.

Зачайная речь вертелась сначала на шуточках Степана Осиповича, потом перешла на прекрасную сестру и великодушного брата и, наконец, на панну Дороту.

— Что за субъект это безмолвная панна Дорота? — спросил я у Степана Осиповича.

— Мрачный психический феномен, — отвечал он. — Она идиотка вследствие обмана и оскорбления. Ее печальная история тесно и даже родственно связана с гнусной историей старого Курчатовского, отца теперишнего владельца. Я вам расскажу ее историю, мне она более, нежели кому другому, известна. И по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители-беззаконники законом ограждены от кнута. То их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное нравственное безобразие.

Только что Степан Осипович вошел в сущность речи, а я превратился в слух, как подошла ко мне белолицая Геба и краснея вполголоса сказала, что меня какой-то однорукий пан спрашивает. Я теперь только хватился, что я сделал непростительную глупость: ушел из дому, не сказав даже Прохору, куда я ушел. А впрочем, я и сам тогда не знал, куда я ушел.

— Что случилось? — спросили меня оба вдруг мои амфитрионы.

— Ничего особенного, — отвечал я смутившись. — Меня, как беглеца, разыскивают в околотке.

— Кто вас ищет?

— Человек, великодушием которого мы недавно восхищались.

— Неужели он сам? Где он?

— Отут стоять за хатою, — отвечала простодушная Геба.

— Что же ты остановилась? Проси их сюда к нам, — сказала Софья Самойловна, обращаясь к Гебе.

— Вы нам сегодня гору золота подарили, — говорил Степан Осипович, пожимая мне руку.

Белолицая Параска пошла просить гостя до компании, а мы все трое, вслед за Параскою, пошли триумфально встретить моего героя.

— Вы меня знаете, а я вас еще лучше знаю, и конечно, — так встретил Степан Осипович своего гостя и, пожимая ему руку, прибавил, показывая на Софью Самойловну. — А вот и моя старая немка. Прошу полюбить.

Софья Самойловна сделала книксен и благоговейно посмотрела на моего героя. А он, простодушный, покраснел, как девушка при встрече с незнакомым юношей. И, подойдя ко мне, шепнул на ухо: «За воротами Трохим вас дожидает». Я исчез, как кошка.

За воротами стояла бричка. А в бричке сидел, понуря голову, мой оскорбленный Трохим. Увидя меня, он отвернулся. Подходя к бричке, я слегка кашлянул. Он еще больше отвернулся. Я вижу, что дело плохо, зашел с другой стороны. Он отвернулся в противоположную сторону. Плохо, нужно переменить маневр.

— Здравствуйте, Трохим Сидорович, — сказал я, едва удерживаясь от смеха.

— Здравствуйте и вам, — сказал он и еще отвернулся от меня.

— Не хотите ли чего покушать?

— Не хочу, — сказал он протяжно и оборотился ко мне спиною.

Не без труда умастил я моего Трохима и ввел его в освещенный гинекей Софьи Самойловны. На дворе уже было темно. Я отрекомендовал его как моего верного слугу и сподвижника и как будущего учителя моего героя.

— Bravo! молодой профессор! Будем учиться, и все пойдет хорошо, — проговорил Степан Осипович, пожимая ему руки. Софья Самойловна приласкала его, как сына, попотчевала вотрушкой и посадила около себя на диване. Трохим не без церемонии исполнил ее желание, сначала поцеловав ее руку. Из чего я заметил, что он парень бывалый.

После весьма нелегкого ужина, к немалому изумлению Софьи Самойловны, мы собрались в путь. А она уже велела в *клуни* на соломе и постели нам приготовить. Услыхав о такой роскоши, я уже было и нюни распустил. Но герой мой, как истинный спартанец, решительно отказался от этого невинного плотоугодия. И тем более, что панна Дорота вчера вечером крепко захворала и сестры некем переменить у ее постели.

«Так вот где причина вчерашнего безмолвия», — подумал я. И, пожелав хозяевам покойной ночи, мы вышли на двор, дав слово навещать их чаще и чаще.

— А все-таки лучше было б, если бы вы переночевали, — говорила ярко освещенная свечой Софья Самойловна.

Степан Осипович, проводив нас до ворот и прощаясь, просил учителя и ученика без церемонии обращаться к нему за учебными книгами и удостоивать его сведениями о ходе своих занятий по педагогической части. Я молча пожал ему руку, и мы расстались.

Х

Западный небосклон еще рделся, как потухающее зарево отдаленного пожара. На мягком красноватом фоне рисовалась темная прозрачная дубовая роща. Из-за рощи фиолетовой игривой струйкою подымался вверх дым, вероятно, из кухни Софьи Самойловны. Глядя на этот невозмутимый мир природы, сладкие успокоительные грезы посетили мою треволненную душу:

Не для волнений, не для битв —
Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв.

Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подъехали к селу. При въезде в село вместо царынного *дида* нам отворил ворота Прохор. И вместо обыкновенного приветствия произнес он клятвенное обещание в том, что не будь он Прохор Хиврыч, а будь он собачий сын, если он с этого часу отпустит меня от себя хотя на две пяди, — возьму, говорит, на веревку, та й буду водить, як того медведя, — и что другой рады он не может дать с таким божевильным паном, как я. При этих словах Трохим посмотрел на меня значительно, как бы говоря: «Что, небось, неправда?»

— Посунься к тому боку, — сказал Прохор Трохиму, влезая в бричку. — З самого ранку на ногах, як той хорт на ловли! Рушай! — сказал он кучеру усаживаясь.

Мимо едва освещенного шинка спустилися мы тихо с пригорка и очутились на гребли. На гладком зеркале пруда кое-где всплескивала рыбка и оставляла по себе тихо расширяющийся на воде круг. Проехав село и тополевую аллею, мы остановились на широком дворе. Из темного фона выдвигалась черная женская фигура. Я узнал в ней мою прекрасную Елену.

— Чи вси дома? — спросила она, встречая нас.

— Все! — сказал я, выскакивая из брички.

— Где вы пропадали до сих пор? — спросила она, взяв меня за руку. Я сказал ей о моей находке.

— А что, разве я не говорила тебе, что они непременно там? — сказала она, обращаясь к брату.

— Да почему вы узнали, что я именно там? — спросил я ночную красавицу.

— Потому, что вы рано поутру прошли за царыню и не возвращались. А до хутора Прехтеля недалеко, я и догадалась.

«Умница», — подумал я и подал ей руку. И мы молча отошли от брички.

— Как здоровье вашей панны Дороты? — спросил я мою молчаливую спутницу.

— Очень нехорошо. Завтра необходимо попросить Степана Осиповича, и я не знаю, как это сделать. Муж уехал, а я...

— Куда ваш муж уехал? — прервал я ее, как будто меня тяготило его присутствие.

— Не знаю куда. Он уехал с вашим родичем. Верно, в Будища, — отвечала она, не изменяя тона.

Разговор наш как-то не вязался. Она сегодня не была похожа на себя. Я ей это заметил, и она сказала, что ей сегодня скучно. Я нарисовал ей привлекательную Софью Самойловну и в заключение объявил ее искреннее желание познакомиться с нею. Она и эту любезность приняла заметно сухо, из чего я мог догадаться, что мне осталось пожелать ей приятных сновидений и ретироваться восвояси. Что я благоразумно и исполнил.

Что ее так сильно беспокоит? Неужели болезнь панны Дороты, этого живого автомата? Или отсутствие беспутного мужа? Или и то и другое? И то и другое поодиночке дрянь. А вместе — безнравственная гадость. А она скучает без них. Странно!

Долго я еще шлялся в темноте по двору и повторял зады, пока, наконец, устал и пошел к себе на квартиру.

Во ожидании меня Трохим читал вступительную лекцию своему ученику. Когда я входил в комнату, он заставлял его узнавать буквы на обертке «Морского сборника» и прехитро толковал ему, что означают две палочки с перекладиной наверху и что значат такие же две палочки с перекладиной посередине. Прохор же, не обращая ни малейшего внимания на любознательную молодежь, читал вслух псалмы Давидовы, осторожно переворачивая пожелтевшие листы Псалтыря. Эта новая сцена освободила меня от томительного впечатления предшествовавших ощущений. Похвалив моего героя за понятливость и прилежание, Трохима за точное исполнение своей новой обязанности, а Прохора за борзое чтение *писания*, я хотел поклониться им и ложиться спать, как Прохор выступил вперед и взял смелость спросить у меня, что значит «Коль возлюбленна селения твоя, Господи сил»? Я, признаюсь, был озадачен таким нечаянным вопросом. Но, сейчас же оправившись, отвечал ему наудалую: «Селение возлюбленное Господне, — сказал я ему, — означает не что иное, как монастырь». — Прохор посмотрел на меня с благоговением, а на предстоящих с удивлением, и больше ничего.

— Я и сам так думал, — говорил Прохор, придя в себя. — А может быть, и не так, думаю себе. А спросить не у кого. Панна Дорота — они хотя и читают книгу, так не по-нашему, а по-польски. Так ее и спрашивать нечего. Слава Богу, что вас Господь послал к нам. А то бы я и до гробовой доски не выразумел сего святого слова. — Чи вы вечерялы? — спросил он меня внезапно.

— Вечерял, — отвечал я.

— Кладитесь ж з Богом та спать. Ходимо, хлопци, — прибавил он, обращаясь к своим собеседникам.

В продолжение речи Прохора я, как бы от нечего делать, перелистывал «Морской сборник» и, найдя то место, где было сказано о подвиге моего героя, заставил Трохима прочитать вслух. Героя моего этот напечатанный секрет на минуту озадачил, но он вскоре оправился и сказал:

— Да если бы не сам граф Вельегорский, царство ему небесное, нас тогда допрашивал, то я другому бы и слова не высказал.

— Мир праху твоему, достойный представитель человеколюбия! — почти вслух проговорил я и, пожелав покойной ночи честной компании, ушел в свою комнату.

Расставшись с моими protégé-друзьями, я нелicenseмерно принялся мерить вдоль и поперек свою комнату. Но как я тщательно ни работал над ее измерением, а кончил тем, что, не узнавши точной величины, я потушил огонь и лег спать. Я рассчитывал на богатырский сон, а вышло совсем не так. Меня что-то беспокоило, а что именно меня беспокоило, этого я, как ни старался, определить не мог. В эти жестокие и бесконечно длинные минуты я немного смахивал на влюбленного. Следовательно, и на помешанного. Но этого сходства быть не может. Во-первых, потому, что я не прапорщик. А во-вторых, что я уже хотя и не в чинах, то по крайней мере в летах и вдобавок совершенно не эротической комплекции. А между тем о чем бы я ни задумал — о старых красавцах дубах, о белом ли Прехтеле, о Софье ли Самойловне, о ее милой оригинальной улыбке, — везде и во всем проглядывает она. Она, прекрасная и непорочная моя простушка героиня. «Боже мой! Боже мой! — восклицал я мысленно. — Сохранит ли она свежесть, эту девственную чистоту, как сохранила ее Софья Самойловна? Едва ли. Она полна самой нежной, самой возвышенной любви. Ей необходима по крайней мере привязанность. Ей необходима опора, на которой бы она могла сосредоточиться. Ей необходим разумный, верный друг, а не пьяный сластолюбец ремонтер или жалкая идиотка панна Дорота, к которой она привязана из необходимости к кому-нибудь привязаться. А если эта жалкая руина совсем рухнет, тогда что? Тогда... тогда все может случиться. Хорошо еще, если она после томительной холодной пустоты сделается только похожею на мою бездушную кухню. А если, что также естественно, утратив святое женское достоинство, она прямо перейдет в подносицы своего растлителя? И, наконец, истощив слабые остатки нравственной силы, она разом увидит всю отвратительную мерзость собственного унижения. Тогда... тогда она — второй экземпляр жалкой юродивой панны Дороты. Как же отвести эту темную, густую тучу от ее блистательно прекрасной головки?» И я, как великий Франклин, задумался над этим нравственным отводом. После долгих соображений я остановился на Софье Самойловне и ее институтке дочери. И, не откладывая в длинный ящик, решил завтра же познакомить между собой моих приятельниц. Эта неоригинальная мысль так мне понравилась, что я развил ее до самой дикой несбыточности. И, убаюканный республиканцами, внучатами моей прекрасной Елены, и прочими тому подобными мечтами, заснул сном блаженного.

Проснулся я довольно поздно. И первое, что представилось моему уже бодрствующему воображению, это вчерашний проект с самонаименьшими подробностями. Несмотря на то, что это было чадо моей собственной фантазии, я не узнал его. Оно было слишком вычурно. Я его

уничтожил и на тех же данных принялся строить другое здание, солиднее, положительнее, приравнивая его более к климату и обычаям.

— А не пора ли вам вставать? — сказал Прохор, тихонько отворяя дверь.

— Не знаю, как ты думаешь? — спросил я его, вставая с постели.

— Я так думаю, что пора. Уже два раза вас приходили просить на чай туда, в сад, — говорил он, развешивая полотенце.

Через несколько минут я уже подходил к дверям заветного павильона. И как дверь была растворена, то я издали внутри его увидел белую блестящую голову Степана Осиповича.

— Какими судьбами вы здесь очутились? — сказал я, подходя к нему и кланяясь его собеседнице, прекрасной Елене.

— Очень просто. Я медик, — отвечал он, протягивая руку.

— А какова ваша больная? — спросил я его.

— Как вообще больные, — сказал он улыбаясь.

Хозяйка ушла проведать свою больную. Я принялся за чай, а Степан Осипович закурил сигару и принялся за панегирик моей прекрасной Елене. И только что дошел он до самого пафоса, как вошла в павильон сама героиня и объявила своему новому поклоннику, что больная заснула.

— И слава Богу, — сказал улыбаясь Степан Осипович и предложил прогулку сначала в саду, а потом к себе на хутор. «Сон в руку», — подумал я и, разумеется, охотно согласился на его милое предложение. Прекрасную Елену затрудняла больная, но Степан Осипович как медик уверил ее, что больная проспит до вечера и проснется здоровою. Она согласилась, приказала приготовить экипаж и догонять себя за *царыною*.

По дороге я забежал на квартиру, взял портфель, карандаш и палку и пустился по следам моих спутников. Едва успели мы выйти за село, как нагнала нас коляска и приняла в свои мягкие недра. Проезжая мимо одного старого дуба, я велел кучеру остановиться и, к изумлению моих спутников, вышел из коляски. На вопрос, что я намерен делать, я показал на дерево и сказал, что намерен нарисовать этого суховерхого патриарха. Степан Осипович молча махнул рукою и велел кучеру трогать. А я на некотором расстоянии обошел вокруг широковетвистого Мафусаила и, не найдя желаемого пункта по причине полдневного освещения, прилег в тени того же Мафусаила, полюбовался издали на его могучих сверстников, да и задремал.

Когда проснулся я, то увидел, что лесковая густая тень изменила мне. Она отскочила от меня сажени на три. Хорошо еще, что я догадался лицо закрыть платком от мух, а иначе из меня сделался бы препорядочный англичанин. А где же мой портфель? Странническая дубина здесь, а портфеля нет. Обошел я несколько раз вокруг патриарха, заглянул в его широкое дупло, — нет моего портфеля. А освещение самое настоящее, и лысый Мафусаил как бы смеется надо мною, показывая свои соблазнительно широко освещенные сучья и ветви. С досады я подошел к другому патриарху, — тот еще лучше, к третьему — еще лучше, а четвертый как будто бы убежал из портфеля Калама и опять напрашивается под карандаш. Я чуть не плакал с досады.

Послав дюжину проклятий бессовестному вору, вышел я на дорогу и направил стопы свои к

хутору Прехтеля. Кроме Софьи Самойловны и белолицей Параски, я на хуторе не нашел никого больше. На вопрос, обедал ли я? я отвечал отрицательно, и тотчас был введен на половину Софьи Самойловны и начинен всеми съедобными богатями и, между прочим, узнал, что героиня моя просто очаровала Софью Самойловну, и что она гостила недолго, потому что боялась за свою больную панну Дороту, и что Степан Осипович поехал вместе с нею, а что она, Софья Самойловна, едет к ней на вечерний чай и просит меня быть ее кавалером, — честь, от которой я не отказался, — и мы полчаса спустя отправились в дорогу.

XI

В тополевой аллее, против самой волчьей тропинки, я велел остановиться и просил свою спутницу выйти из брички, намереваясь провести ее этой волчьей дорогой прямо в павильон, где предполагал я найти хозяйку и ее седого гостя. Предположение мое не сбылось, потому что не успели мы ступить на тропинку, как в конце аллеи, к стороне дома, показалась сама хозяйка, сопровождаемая Степаном Осиповичем и своим благоверным ротмистром. Мы пошли им навстречу. С непритворной радостью обнялись и поцеловались новые знакомки. А сам хозяин с ловкостью истинного гусара отрекомендовался Софье Самойловне и просил ее жаловать в комнаты.

— Удался ли вам сегодня рисунок? — спросил меня лукаво Степан Осипович.

— Очень, — отвечал я, стараясь быть серьезным.

— Правду ли вы говорите? — спросил он, глядя на меня пристально.

— Правду, — отвечал я тем же тоном.

— Нельзя ли нам полюбоваться вашей работой? — сказала хозяйка смеясь.

— И вы против меня, — сказал я ей тоже смеясь.

Довольный Степан Осипович пожал ей дружески руку и тут же рассказал, как было дело: как я изменил их тройственному союзу во имя прекрасного искусства и как они на обратном пути заметили меня глубоко преданного этому божественному искусству. «До того глубоко, что он не заметил, как мы у него из рук портфель украли», — так заключил свой рассказ Степан Осипович. Рассказ его возбудил всеобщий смех, в том числе и мой.

Мне необходимо было зайти на квартиру, и я ненадолго расстался с моими веселыми друзьями. Прохор встретил меня на лестнице покиванием главы, как бы говоря: горбатого могила исправит. Я показал вид, что не замечаю его тонкого и справедливого упрека. Тут же встретил меня герой мой с предложением [посмотреть], сколько им книг привез Степан Осипович. Комната, в которую он меня ввел, была его и Трохима квартира и класс. Корзина с книгами разной величины и формы стояла на полу, над нею, как хищный беркут, сидел Трохим, погрузившись в изображение исторических героев, в систематическом порядке выведенных на хитрую таблицу по методу Язвинского.

Я освидетельствовал дорогой подарок и сделал приличное случаю наставление моим приятелям, как они должны быть внимательны и благодарны Степану Осиповичу за этот истинно драгоценный подарок. Окончивши речь с достоинством оратора, я оставил моих приятелей думать о случившемся, а сам вышел на двор. На дворе уже никого не было. Я пошел в дом; пройдя коридор и красную комнату-коридор, потом [вошел] в другой коридор и потом в круглую залу-палатку. Тут нашел нашу компанию за чайным столом, спотешаемую любезным хозяином каким-то тривиально-гусарским анекдотом. Дверь, ведущая в коридор с

недвусмысленными десятью чуланами, была заставлена столом, украшенным разными сладостями и бутылкою какого-то вина. Кто это так мило догадался заслонить коридор беззакония? Во всяком случае не хозяин. Он в этой гнусной декорации не видит ничего предосудительного. Иначе он бы ее давно уничтожил.

Между разного содержания небылицами хозяин рассказал одну былицу. О том, с каким триумфом был встречен мой проигравшийся родич своею неистовою половиной. И когда торжественные проклятия дошли до самого бешеного пиччикато, внезапно явился в комнату Иван Иванович Бергоф. Точно с креста снятый. Истощенный, измятый, в каком-то лакейском чекмене, выпачканном грязью и кровью.

«Он, изволите видеть, — заключил хозяин поучительную былицу, — он затесался куда-то в доброе место, в Звенигородку, кажется, к уральским козачкам; те его, добра молодца, в один денек облупили как липочку, да вдобавок поколотили. И поделом. В чужой монастырь с своим уставом не суйся». — Трагический рассказ был ловко замкнут поговоркой. Чайное угощение сменилось конфетным, конфетное — ужином, за которым любезный хозяин чуть-чуть не погусарски налился. Кончилось все, однако ж, как следует: расставаньем, поцелуями и приличным числом «до свидания».

Проводив моих старых друзей до брички, пожелав им счастливой дороги и покойной ночи, посмотрел, как они утопают во тьме ночной, да и сам отправился на боковую.

Следующий и несколько последующих дней я, как порядочный артист, провел за работой. Результатом моего трудолюбия вышел акварельный рисунок, представляющий мою героиню в том виде, как я ее подсмотрел в павильоне, в кругу своих нелицемерных подруг. Рисунок вышел эффектный и в отношении сходства очень удачный. В особенности хорош вышел герой мой, невозмутимо вертящий шарманку. Когда я окончил и показал рисунок свой во всеуслышание, то Курнатовский десять раз сряду побожился, что он в жизнь свою не видел ничего прекраснее, художественнее, чему я совершенно верю. Потому что он в жизнь свою ничего не видел, кроме бутылки и карт. Но чтобы довершить свое торжество, я прибавил и его портрет в полутоне. Прибавка эта произвела желаемое впечатление. Курнатовский пришел в неописанный восторг. Называл меня и другом и братом, товарищем по чувствам и в заключение предложил мне 1000 руб., от которых я должен был отказаться, потому что я делал рисунок для жены его и без всякого возмездия. Мое бескорыстие его озадачило. Он посмотрел на меня не как на товарища по чувствам, а как на заморского зверя. И посоветовавшись с своим экономом, предложил мне бричку-нетычанку, пару добрых коней и кучера. От последнего я отказался, а прочее с благодарностью принял. У меня давно была мысль обзавестись этою в моем кочующем быту необходимой мебелью, но все как-то не удавалось. А тут разом удалось, и удалось недорого. Прохору удивительно как по нутру пришлось мое внезапное приобретение. Из чего я заметил, что у него орган скотолубия преимущественно развит.

— А не пора ли нам собираться в поход? — спросил я его, обревизовавши в десятый раз свое новое добро.

— Если вы в карты не играете, то не пора, а если играете, то пора, — сказал он, лукаво улыбнувшись.

Я похвалил его за остроумное слово, и мы решили завтра же отправиться восвояси. О чем было объявлено и гостеприимной хозяйке, и хозяину. И так как это дело было к вечеру и погода благоприятствовала, то мы и решили сообща сделать визит Прехтелям, а завтра по пути и моим милым родичам. Я велел Прохору вооружить свою бричку и самому вооружиться.

Вооружение быстро совершилось, и я поехал к Прехтелям в своей собственности.

Когда я объявил моим старым друзьям о моем крепком намерении завтра оставить их, то они приняли это за шутку, и даже неуместную. Они пренаивно думали, что я непременно дождуся их милой Маши из института, нарисую ее портрет да тогда и поеду себе куда угодно. А если захочу, то и у них могу остаться хоть на всю жизнь.

— А какого бы я из вас сделал превосходного немца! — сказал Степан Осипович, пожимая мне руку.

— У тебя только немцы на уме, — прервала его Софья Самойловна. — Тут нужно говорить дело, — прибавила она и задумалась.

— О каком же это деле ты так глубоко призадумалась, моя старая немка? — спросил ее Степан Осипович ласково.

— А вот о каком, — отвечала она улыбнувшись. — Теперь в исходе май. В июне будет выпуск. Возьмите и меня с собою в Киев, — прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

— С удовольствием, — сказал я, принимая ее слова в прямом смысле. А Степан Осипович перекрестил ее большим крестом, на что она улыбнулась и посоветовала ему самому перекреститься, что он и исполнил.

— А теперь что прикажете? — спросил он, вытягивая руки по швам.

— Теперь ничего, а завтра готовить бричку и кормить лошади. А послезавтра я поеду в Киев. Вот вам и вся недолга, — прибавила она, прищелкнув пальцем.

Итак, по желанию Софьи Самойловны я решился отложить до послезавтра мою поездку. После чего Курнатовские и я пожелали старикам покойной ночи и поехали в дом свой.

Следующий день прошел в сборах и наставлениях Трохиму, как должно вести себя с чужими людьми. Вечером побывал я у моих старых друзей, узнал, что и как и когда именно мы пустимся в дорогу. Решено было выехать из дому рано, чтобы обедать в Богуславе и на ночь поспеть в Потоки. Порешивши эту важную статью, я расстался со стариками.

За ужином у Курнатовских объявил я о нашем непреложном решении, причем героиня моя медленно, сердечно-мягко посмотрела на меня, а хозяин велел подать бутылку шампанского на прощанье.

Солнце еще покоилось за горизонтом, а мы уже были на ногах. Прохор возился около брички и лошадей. Герой мой с Трохимом — около чемодана и корзины с пирожками и прочим добром. А я ничего не делал. Когда все пришло к концу и Прохор торжественно воссел на козлах, тогда я вышел на двор, перекрестился, и процессия двинулась. За бричкою пошел Трохим с моею палкою и с портфелем в руках, за Трохимом последовали мы с моим героем, взявшись за руки. В таком порядке мы прошли двор и часть тополевой аллеи. Тут порядок шествия был нарушен внезапным появлением моей прекрасной Елены. Она, как лучезарная денница, явилась пред нами и осветила наше мрачное шествие. Но этот лучезарный свет исчез в одно мгновение. Грустно опуствя на грудь свою прекрасную головку, она молча пошла между мною и братом. И когда бричка выехала из аллеи, взяла круто вправо и скрылась за деревьями, тогда она остановилась, быстро схватив мою руку, поднесла ее к своим губам. Не успел я ахнуть, как она уже легче газели неслася по аллее к дому. Я посмотрел на улыбающегося моего спутника и не знал, что сказать на это.

— Она приедет с вами проститься к Софье Самойловне, — проговорил он простодушно, и мы молча пошли за бричкой. За селом к нашей процессии присоединился с тощей собакою мой старый знакомый *царынный дид*. А когда мы уселись в бричку, то Прохор, прощаясь с своим ровесником, сказал ему:

— Зробы ж!

— Добре! — отвечал тот, и наша бричка покатила по дороге. Молчание царило над нами до самого хутора.

На хуторе Телемон и Бавкида хлопотали уже около своего ковчега, т. е. около дорожной брички, или, правильнее, крытого фургона. Белолицая Параска выносила из хаты *ворочки*, узелки, корзинки, ящички и все это передавала Степану Осиповичу. А он, тщательно осмотревши предлагаемую вещь, передавал ее бережно Софье Самойловне. А та, осмотревши вещь так же тщательно, укладывала ее на свое место.

— Бог помочь! — сказал я, подходя к бричке.

— Гут морген! — отвечал мне Степан Осипович улыбаясь. В это время были вынесены подушки и огромная перина, а когда и это добро было всунуто в ковчег, Степан Осипович снял свою белую фуражку, перекрестился и сказал: «Слава Тебе, Господи!»

— А ковер, душко, и забыли, — сказала Софья Самойловна, выглядывая из фургона. Вынесен был и ковер.

— Теперь все, душко? — сказал Степан Осипович.

— Все! — отвечала Софья Самойловна.

— Еще раз слава Тебе, Господи! И... — старик еще что-то хотел сказать, но не успел: в это время к нам подходили Курнатовские, оставив свой экипаж за воротами.

После взаимных приветствий и лобызаний был осмотрен всем комитетом ковчег. После удовлетворительного осмотра хозяйка предложила кофе и легенький фриштык, состоящий из жареной индейки, дюжины цыплят и тому подобной овощи. Во время завтрака Степан Осипович просил моего героя и его профессора быть его постоянными гостями до приезда молодой хозяйки. Тогда Софья Самойловна обратилась к ним с просьбою, чтобы поберегли ее старого немца. А белолицой Параске крепко-накрепко наказала, чтобы гости без нее не голодали. А иначе она обещалась привезти ей из Киева дулю, а не гостинец.

— Ты знаешь, какой он у нас? — прибавила она, показывая на Степана Осиповича. — По нем хоть волк траву ешь, ему все равно. Ему был бы только флейш. А другие хоть с голоду умри, он и не подумает о других. Я уже его, — продолжала она, обращаясь к гостям, — немного приучила к рыбному. А прежде ни среды, ни пятницы не знал. Настоящий тата... — да на этом «тата» и остановилась, ласково посмотрела на своего улыбающегося Телемона, как бы прося прощения за такое нехристианское сравнение.

После кофе и так называемого легкого завтрака мы помолились Богу, на минутку присели по принятому обычаю и, помолясь еще раз, пошли по своим местам. Курнатовские вызвались нас провожать до Шендериевки, чему я был очень рад. Курнатовский как истинный кавалерист поехал верхом, а я занял его место в коляске возле моей прекрасной Елены.

До самого места расставанья прекрасная Елена ничего не говорила. Я тоже молчал. Мы были

очень похожи на жениха и невесту, едущих к венцу по воле родителей.

Сцена расставанья, наконец, настала. Героиня моя молча пожала мне руку и едва внятно проговорила: «Благодарю вас за брата». Ротмистр, не слезая с лошади, тоже пожал мне руку и благодарил за какое-то одолжение. А Степан Осипович, пожимая мне руку, просил побережь его добрую старую немку. На том и расстались.

XII

Герой мой не так прост, как я себе воображал его. Он смекнул делом, что предполагаемый нами ночлег в Потоке состояться не может по причине так называемого легкого завтрака и вообще расставанья. Основываясь на этих данных, он незаметным образом обогнал нас и, не останавливаясь в Шендериевке, пустился далее в Богуслав с мыслию, которая сделала бы честь любому леопарду: с мыслию приготовить квартиру для Софьи Самойловны. Каков матрос! Солнце уже опускалось за горизонт, когда он с профессором своим встретил нас по сю сторону Роси и проводил на приготовленную квартиру. Софью Самойловну до слез тронула эта неожиданная любезность. Герой мой в глазах Софьи Самойловны всегда был необыкновенным человеком, а теперь сделался и человеком светским. В глазах женщины это венец всем добродетелям. Все бы хорошо. Только вот что случилось. Едва успела Софья Самойловна показаться на улице перед своей квартирой, как ее окружила густая грязная толпа самых отчаянных факторов и почти на руках внесла ее в комнату. Бедная до того растерялась от этой новой нечаянности, что не могла выговорить слова и только отмахивалась носовым платком, как от мух, от услужливых хриstopродавцев. Но эта кроткая мера ни к чему не повела. Жидки и не думали отступить. Тогда она схватила в обе руки свой огромный ридикюль и начала прокладывать себе дорогу обратно к своему мирному ковчегу. Я вступил в дело и с помощью севастопольского защитника рассеял толпу израильтян и уговорил Софью Самойловну возвратиться в комнату. А на случай внезапного нападения поставил на часах у дверей неустрашимого Трохима.

На другой день рано поутру, напившись вместе чаю, я окончательно простился с моим доблестным героем и с моим бывшим сподвижником и верным слугою.

Из Богуслава через Росаву и Поток мы на другой день благополучно приехали в Триполье. А из Триполья, понад Днепром, дремучим бором на другой день приехали мы в Киев, тоже благополучно. Можно было бы и в три дня совершить этот путь, но мы, как добрые хозяева, щадили скотину и, как люди неравнодушные к прелестям природы, останавливались *попасать* у ручейка или над широким плесом Днепра, нечаянно врезавшимся в дремучий лес. И пока Софья Самойловна с Прохором хлопотала около кофейника, я рисовал сосну или березу, а лошади задумчиво траву щипали да хвостами помахивали. Словом, мы путешествовали, как следует путешествовать и всем порядочным людям. На последнем *попase*, или привале, я рисовал группу сосен и, для масштабу, пасущуюся лошадь. Софья Самойловна варила кофе и как-то нечаянно заговорила с Прохором о панне Дороте и о старом Курнатовском. Я приготовил уши, а карандаш только так, для блезиру, держал в руке. И в продолжение получаса узнал всю отвратительную подноготную седого сластолюбца и трогательно жалкую историю бедной панны Дороты. Историю, к несчастью, обыкновенную даже в наше время.

В своем месте я сообщу моим терпеливым читателям эту глубоко грустную и поучительную историю и, если умудрюсь, словами самого Прохора, а теперь поведу речь о пребывании Софьи Самойловны в Киеве.

Квартира у меня была в Киеве как раз против института, не на Крещатике, а на горе. Я предложил ее Софье Самойловне, а сам поселился на время в трактире, не на водах, а на

Крещатике, в доме архитектора Беретти. В тот же день с помощью добрых людей представил я моей спутнице опрятную, скромную и расторопную хохлячку Марину, которая вполне ей заменила белолицую Параску. Устроивши все как следует, мы держали совет, посещать ли Машу в институте или переждать экзамены и явиться прямо на акт. Как благоразумная и нежная мать, она отказала себе в радости поцеловать единое дитя свое прежде экзамена, чтобы не развлечь и не повредить ему в день испытания. В ожидании этого блаженного дня я развлекал мою гостью как мог и как умел. Потчевал ее прогулками по церквам и монастырям, возил раза два в *Кинь-грусть*, уже было начал посвящать ее в таинства киевских древностей, как слух пронесся о выпускном акте и бале в институте, на котором покажут себя публично будущие пантеры и львицы.

Не помню, почему я не мог сопровождать мою гостью на это высокое торжество и видеть ее красавицу Машу в критические минуты испытания. На другой день уже увидел я ее в объятиях счастливой рыдающей матери. Это была юная, стройная, как леторосль тополи, гибкая, прекрасная брюнетка, с бледным матовым лицом и с большими умными черными глазами. Через полчаса мы были уже свои люди и к неопisanному восторгу матери пели в два голоса малороссийскую песню:

Зийшла зоря из вечера,
не назорылася,
Прыйшов мылый из походу,
я не надывылася.

Она превосходно владела своим баритоном, который сначала показался мне грубым для ее возраста. Я тут же окрестил ее знаменитым именем Альбони. Прошло еще полчаса, и мы уже друг друга *обожали*. Она мне, как обожаемому и обожателю, рассказала, разумеется по секрету, кого из учителей все девицы обожали, а кого только некоторые, и которого как они называли: минералога Ф., например, они называли купчиком за то, что он на лекцию приходил всегда с ящичком; а инспектора П., так заключала она свою детскую исповедь, ни одна девица не обожала, потому что у него глаза кошачьи.

Наговорившись по секрету о предметах первой важности, я рассказал ей, тоже по секрету, историю про моего героя и про его очаровательную сестру. Внимательно выслушала она мою повесть и, чего я не чаял от ее возраста, глубоко задумалась. Я тоже призадумался и, глядя на нее, сам себя спрашивал, не сочиняет ли и она теперь поэму на эту возвышенную тему, как я сочинял. А почему же и не так? Ее непорочной душе это доступнее, нежели записному поэту.

— Какой прекрасный! какой благородный брат! — проговорила она, едва удерживая слезы. — Мамо! — сказала она, обращаясь к матери, — а когда мы домой поедем?

— А как отговеемся, мое сердце, так тогда и поедем, — отвечала Софья Самойловна, целуя свое задумчивое дитя. — Что ты такая невеселая, пташечка моя! рыбко моя красноперая? За папою скучаешь? Не скучай, мое серденько, скоро, скоро увидишь. — На ласки матери она задумчиво вздохнула.

— Что вы с нею сделали? — спросила меня Софья Самойловна.

— Они рассказали мне историю про матроса.

— Про нашего соседа? Про Осипа Федоровича? — прервала ее догадливая Софья Самойловна и, вдохновенная свыше, она повторила мой рассказ с таким задушевым красноречием, что я слушал ее, как бы никогда не знал о случившемся происшествии. Она открыла в моем герое такие романтические прелести, каких я и не подозревал. Например, мне и в голову не

приходило, что мой герой владеет даром слова, а по словам Софьи Самойловны, он настоящий златоуст.

Рассказ про обожаемого матроса и его прекрасную сестру повторялся каждый день с новыми вариациями. Я начинал бояться, чтобы герой мой от частых повторений не опошлел в воображении его пламенной обожательницы. Опасения мои были напрасны. В последнюю ночь перед выездом из Киева она его уже видела во сне, прекрасным, очаровательным.

Благочестивые мои приятельницы отслужили молебен Варваре-великомученице и в одно прекрасное утро закупорились в свой ковчег и пустились восвояси. Я проводил их до самого того места, где я рисовал группу старых сосен и слушал трогательный рассказ Прохора про панну Дороту и про старого грешника Курнатовского. На прощанье просила меня Софья Самойловна приискать для Машеньки фортепиано и до зимы прислать им на хутор, что я не замедлил исполнить как нельзя удачнее.

В Киеве мне не сиделось, и я, посоветовавшись с Прохором, в одно прекрасное утро оставил его вместе с Прохором.

Завидное, очаровательное положение в свете человека, ни от кого не зависимого. Едешь себе, куда вздумается, в собственной бричке и на собственных лошадях, остановишься, где захочется, нарисуешь, что тебе понравится, и едешь далее. Волшебное состояние! И сколько есть этих независимых счастливых в свете, которые и не подозревают своей независимости. Бедные, жалкие рабы ничтожно узеньких страстишек и тонко обдуманных необходимостей!

Измеривши вдоль и поперек Волынь и Подолию и дождавшись в Житомире осенней грязи, мы возвратились благополучно в Киев.

Из Житомира послал я пачку огородных и садовых семян Степану Осиповичу, собранных мною у волынских и подольских агрономов. А юным прекрасным друзьям моим тетрадку малороссийских песен, записанных мною от подолян и волынян. И по возвращении в Киев, недели две спустя, я получил от Степана Осиповича письмо такого содержания:

«Любезный и незабвенный земляче!

С самого начала не удивляйтесь, что я вас называю земляком своим. Я сам до сих пор был уверен, что я настоящий дейч. А вышло, что я такой же немец, как и вы, т. е. настоящий хохол. И знаете, кому я обязан этим открытием? С самого начала вам, т. е. вашему фортепиано и тетрадке хохлацких песен. Потом моей Маше и вашей приятельнице Курнатовской. Да и старуха моя туда же. Но — минуту терпения. Я вам расскажу все по порядку. С первого свидания Маша моя влюбилась в вашу приятельницу до обожания, как она сама выразилась. Мы с Сонечкой чрезвычайно обрадовались их сближению. Проходит неделя, другая, новые друзья неразлучны, как Кастор и Поллукс. Только замечает сначала Сонечка, а потом и я, что неразлучные друзья украдкою от нас какую-то книгу читают. Нам это не понравилось, я стал внимательнее следить за поведением неразлучных друзей. Да в одно прекрасное утро и накрыл приятелей под липою в саду. «Какую это ты книгу в карман спрятала?» — спрашиваю я свою. «Не покажу», — говорит она. Настоящая хохлачка! А приятельница ваша так и вспыхнула. Я сделал около своей искусный вольт да и выхватил из кармана книгу. Вообразите же себе мое изумление: вместо пошлого романа у меня в руках была немецкая грамматика. «Дурочки! — говорю я им, зачем же вы прячетесь с этим добром?» — «Гелена, — говорит моя хохлачка, — хотела вам сюрприз сделать, нечаянно заговорив с вами по-немецки». Каковы

проказницы? Потом моя повисла мне на шею да и просит, чтобы я учил ее Гелену по-немецки, а она будет учить ее по-французски. Я, разумеется, охотно взялся за это святое дело. И тем более охотно, что я, старый дурак, вообразил себя окруженного немками с Шиллером в руках. А какие удивительные способности у вашей приятельницы! Фортепиано все дело испортило. Т. е. не все. Немецкий и французский язык идет своим порядком. Да я-то сильно одурочен. Вместо чтения Шиллера и Гете пою под фортепиано хохлацкие песни да еще и ногою притопываю. Вот что сделали из меня ваши хохлачки! Я попробовал ключ прятать от инструмента и задать большие уроки. Ничего не помогло. Через полчаса урок готов, и по уговору инструмент должен быть открыт. Так вот какого рода обстоятельства. А ротмистра Курнатовского вы теперь не узнаете. Настоящий барашек. Выписывает из Петербурга рояль для своей обожаемой Гелены. А вы пришлите для меня еще тетрадку хохлацких песен, да, если можно, и с нотами. На праздники приедут к нам погостить герой ваш и его ученый профессор. Приезжайте-ка и вы с Прохором. А пока целуют вас ваши хохлачки, а мои будущие немки, и я. Прощайте. Благодарю за житомирскую присылку.

P. S. Панна Дорота, увы! — не выдержала она, бедная, окончательно помешалась. И, Боже, какая она жалкая! Я в жизнь мою не видал такого жалкого субъекта. Помешательство ее тихое, спокойное и тем грустнее и безнадежнее. Яд этот медленно, с самой ранней юности, вливался в ее нежную организацию, — что я говорю — в ее кроткую, непорочную душу. И Богу известно, когда кончится это горькое существование? Она может прожить еще несколько лет. В истории душевных болезней эти примеры не редки. Каков должен быть человек, решившийся очумить душу в то самое время, когда она только что начала сознавать прелесть и очарование жизни. Ужасное и безнаказанное преступление!

Но я заболтался с вами. Дети кончили уроки и требуют ключ от инструмента, пойду. Не забывайте вашего старого земляка и моих будущих немок. Еще раз прощайте». И так далее...

Я имею благородную привычку отвечать сейчас же на полученное письмо. Под влиянием прочитанных известий, какие бы они ни были, как-то легче пишется. Не чувствуешь работы, не замечаешь того томительного труда, который сопряжен с ответом запоздалым, где необходимо извиняться, а нередко и врать. А это мне пуще ножа острого. Самая невинная ложь в моих глазах — уголовное преступление. Я начал письмо мое так: «Многоуважаемый мой друже и новый мой земляче!»

Не успел я поставить знак восклицания, как вошел в комнату Прохор и сказал, что сегодня погода такая прекрасная, что грешно было бы сидеть дома и смотреть в окно на улицу. И тем более, что у нас, слава Богу, все есть свое для езды. «Ты дело говоришь, Прохоре», — сказал я ему и начал придумывать, куда бы этак махнуть подальше. А в ожидании доброй мысли я прочитал ему письмо Степана Осиповича. На что он весьма основательно заметил, что все хорошо написано, а одного так и совсем не написано.

— А чего же, по-твоему, тут недостает? — спросил я его.

— А по-моему, недостает тут Осипа Федоровича да Трохима Сидоровича.

— Правда твоя, я напишу ему об этом. А пока иди да приготавливайся в дорогу.

Прохор вышел, а я занялся вопросом, почему мне старый немец ничего не пишет о моем герое и его учителе. Сказал только, что они приедут к ним на праздники в гости, а откуда они приедут, ничего не известно. Странно. Предположениям моим и конца бы не было, если бы Прохор не постучал в окно и не сказал, что он готов хоть на край света.

Я по природе моей принадлежу к категории людей рассеянных и отчасти нерешительных. Эти, можно сказать, невинные недостатки нередко ставили меня в смешное, а иногда и в неприятное положение. Теперь, например. Совершенно невинно, а постриг себя в такие дурни, что хоть на выставку, так впору. Поехали мы с Прохором в Бровари, ну, и довольно. Воротиться бы назад, написать письмо Прехтелю, и дело в шляпе. Нет, нужно было проехать в Оглав да завернуть в Барышевку навестить старого прокурора Бориспольца. Очень нужно! А между тем прошел месяц, а письмо не написано. Хорошо еще, что я догадался послать ноты, книги и еще тетрадку малороссийских песен. А то бы мои добрые хуторяне могли подумать, что я уже на лоне Авраамле. Мало того, что нехорошо, — бессовестно. Прекрасная мысль! и как раз пришлось по моей комплекции: не писать до весны, а весной вдруг как с облаков свалиться. А каков будет эффект! А после эффекта все-таки придется извиняться, врать и краснеть. Лучше теперь же напишу, пускай что хотят думают, а я, по крайней мере, очищу совесть. Нужно только написать так, чтобы видна была правда, но правда опоэтизированная. Для этого я начал письмо следующим эпиграфом:

Как в наши лучшие года,
Мы пролетаем без участия
Помимо истинного счастья.
Мы молоды, душа горда;
Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога,
Проходят лучшие года.

Да вместо одного куплета выписал все стихотворение, да в этом же тоне и письмо нахватал. Эффект был необыкновенный. Под стихами забыл я написать «В. Курочкин», и приятельницы мои не задумались вклеить меня в пантеон мировых поэтов. Вот какие могут быть последствия так называемой невинной рассеянности. Без всякого намерения можно попасть в самозванцы. И я отделался только тем, что послал моим хуторянам декабрьскую книжку «Б[иблиотеки] для чтения» за 1856 год. И после такого аргумента они разочаровались во мне только вполовину. В их понятиях я все-таки остался великим поэтом за то только, что я им сообщил это гениальное стихотворение.

Зима с контрактами и прочими радостями невидимо мелькнула предо мною. Перед лицом мартовского солнца сконфузился и почернел белый снег. Ручьи весело зашевелились в горах и побежали к своему пращурю Днепру-Белогруду сказать о приближении праздника богини Яры. С любовью принял лепечущих крошек старый Белогруд и распахнул свою синеполую ризу чуть-чуть не по самые Бровари. Рязанова трактир, как голова утопленника, показывается из воды. А гигантмост, как морское чудовище, растянулся поперек Днепра и показывает изумленному человеку свой темный хребет из блестящей пучины. Прекрасная, величественная картина!

Не говорю, весна, — один запах весны меня способен вывести в поле не только из Киева — из самого Парижа. Что я и доказал в прошлом году моей черепашечьей прогулкой по неисходимой грязи. Но я годом постарел и сделался хладнокровнее к внешним впечатлениям. А все-таки трудно было мне выговорить роковое слово: «Не поеду!», т. е. пока грязь не уgomонится. Я, однако ж, сказал это роковое слово. А уж если я что однажды сказал, так это все равно, что напечатал. Никакая земная сила не заставит меня переменить однажды принятого намерения. Этим я без хвастовства могу похвалиться.

Сижу я скрепя сердце в Киеве. А седьмое апреля (день Пасхи), так сказать, на носу висит. А грязь, как нарочно, жиже и жиже растворяется. Дождь за дождем так и льется. Все против меня — и небо, и земля. Посмотрим, кто кого пересилит? И я, наверное, переупрямил бы и

небо, и землю, да случилось вот что. В самое Лазарево воскресенье получаю я письмо от нового земляка моего Прехтеля. Письмо самого курьезного содержания. Оно-то и поколебало мою энергическую или, лучше сказать, хохлацкую натуру. А чтобы недоверчивые читатели не сказали, что я хвостом верчу, то, как доказательство моей непорочности, прилагаю при сем письмо многоуважаемого мною Степана Осиповича Прехтеля. Чтобы они сами могли рассудить, основательно ли я поступил в этом необыкновенном случае.

«Вселюбезнейший земляче!

Начать с того, что вы эгоист. И самый закоренелый, холодный эгоист. Хотя простодушные немки мои и уверяют меня, что вы только лентяй и, следовательно, один из величайших поэтов-художников (не правда ли, наивное понятие?), но меня, старого воробья, на мякине не проведешь. Видал я вашу братью, великих чудотворцев. Но дело не в том. А вот в чем дело. Все мы, начиная с вашей приятельницы Гелены, глаза проглядели, дожидаячи вас к себе на праздниках, а вы?.. Ну, не эгоист ли вы после всего этого? А как у нас было весело, чудо! Героя вашего и его достойного профессора вы бы не узнали. Элеганты, первого сорта элеганты! Маша моя... ну, да Бог с нею. Мне нужен человек, а не мишурная тряпка. А герой ваш... но об этом после. Жаль, что вы не приехали. Вас только и недоставало для полной хохлацкой ассамблеи. Приезжайте же к Пасхе, непременно приезжайте. Вы у нас увидите большие перемены. Сонечка моя помолодела и похорошела, я тоже. Маша и ее друг Гелена сделались настоящими немками, и я думаю к приезду вашему открыть немецкие литературные вечера, если только вы не привезете новых хохлацких песен. Ротмистра Курнатовского вы совсем не узнаете — прелесть мужик! Кузину вашу называет бездушной куклой. А ее благоверного сожителя — ослом в гусарском вицмундире. Панну Дороту вы совсем не увидите, и скажите: «слава Богу». Она недавно умерла. Приезжайте, я вам сообщу интересные данные для ее печально поучительной биографии. А теперь, чтобы более заинтересовать вас, скажу, что она была родною матерью ротмистра Курнатовского. Прощайте! Целуют вас мои немки и я.

Р. S. Болтал, болтал, а главного не сказал. Что Курнатовский из гусара делается человеком, вот вам доказательство. Он ломает отцовское гнездилище и строит новое, человеческое жилище. Не играет в карты, не пьет. И вашего бывшего слугу Трохима воспитывает на свой счет в белоцерковской гимназии. Как обстановка изменяет человека! С прошлой осени герой ваш и его гимназист-профессор живут в Белой Церкви и учатся. Статью эту, правду сказать, я обделал с помощью вашей прекрасной Елены. Да это все равно, кто бы ни сделал, только бы сделал хорошо. И вам будет большой грех, если вы не приедете к нам на праздник, хотя бы для того только, чтобы взглянуть на своего Трохима-гимназиста и на храброго защитника Севастополя, на моего будущего... да что тут за секреты, на моего будущего зятя».

— Прохоре! Прохоре! — закричал я, выбегая в переднюю. С Псалтырю в руках явился Прохор.

— Едем, собирайся. Сегодня едем! — сказал ему скороговоркой. На что он равнодушно произнес: «Добре!» — и пошел собираться в дорогу.

К[обзарь] Дармограй

Джерело: *Шевченко Т. Г.* Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 4: Повісті. — С. 208-326.

Постійна адреса:

http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/progulka_s_udovolstviyem_i_ne_bez_morali